ПИМЕН КАРПОВ

# ИЗ ГЛУБИНЫ

*Повесть*

Советский писатель
МОСКВА
1956

## ОТ АВТОРА

После многолетнего перерыва в творческой работе, вызванного тяжелой болезнью, мне удалось обрести силы закончить автобиографическую повесть «Из глубины», которую я и предлагаю вниманию читателей.

В литературе я не новичок. Первая моя книга, «Говор зорь», вышла в издании Петербургского Пушкинского товарищества в 1909 году. Вслед за этим, в 1911 году, появились отдельные книжки моих стихов — «Знойная лилия» и др. В 1914 году написал я роман «Пламя». Выпущенный Петроградским издательством «Союз», этот роман был расценен «блюстителями нравственности» как клевета на царскую Россию, — тираж его конфисковали и сожгли.

В послеоктябрьский период, в 1920 году, была издана книга моих рассказов «Трубный голос», в 1922 году вышла книга стихов, драматический эскиз и др.

Но все это — уже перевернутые страницы моей литературной жизни. На них сказалось и формальное влияние символизма — особенно раннего творчества Валерия Брюсова, произведений Федора Сологуба, — и невытравленные окончательно еще в ту пору у меня народнические взгляды, и, наконец, непонимание мною общественного назначения литературы, неумение разглядеть в ней единственно правильный путь — путь реалистического направления, на который, порвав с символизмом, стали многие художники слова, и прежде всего В. Брюсов и А. Блок.

Вспоминаются справедливые слова, обращенные в мой адрес Александром Блоком. Критикуя в 1918 году мои ошибочные сочинения, он между тем подчеркивал, что они представляют собою все же человеческий документ. Так, «из «Пламени» нам

придется, — писал он, — рады мы или не рады, запомнить кое-что о России...» Можно бы сказать, — отмечал А. Блок, — что «душа автора — курная, чадная изба, в которой бьется и не может найти выхода раненый голубь... Во всяком случае, — продолжал он, — как бы ни называлось то, над чем мучается Карпов, и то, для чего он ищет найти словесное выражение, есть нечто важное, большое и беспокойное».

Да, раненый, искалеченный жизнью в годы юности, в чем и убедится читатель, раскрыв эту книгу, я мучительно долго искал выхода из «чадной избы моей души». И этот выход мне указала сама жизнь, наша советская действительность, наша советская литература, которая правдиво изображает эту действительность в ее историческом развитии.

Я как бы заново перечитал книгу своей жизни, по-иному оценил пережитое и увидел то «важное, большое и беспокойное», о чем и написал в своей повести «Из глубины», заглянув в эту глубину ушедших лет теперь уже глазами советского гражданина и писателя.

Трудно, конечно, сознавать, что возвращаешься в родную литературу уже на закате своей жизни, но возвращаешься с волнующей радостью обретенной, глубоко осознанной правды, с горячим желанием по мере своих сил рассказать о далеком своему близкому читателю.

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

# РАНЫМ-РАНО

## 1. „ЧЕ́МЕР“

В лесной глуши, на полпути меж Севском и Рыльском, — там, где в Смутные времена плутал с монахом Варлаамом бродяга Григорий Отрепьев, «усыновленный» тенью Ивана Грозного и нареченный из гроба царевичем, — в семье безземельного крестьянина увидел я свет.

С первых же дней познал я все страхи жизни: падение с печки под стол, с членовредительством, порку розгами, угрозы смертью. Дед мой был крепостным ткачом. За ручным ткацким станком он умер от разрыва сердца. Трое его сыновей — мой отец младший из них — тогда же поделились и принялись срубы рубить: каждый мастерил себе халупу. А так как усадебных участков у них не было, то и лепили они свои гнезда где-то в логу, на задворках. В одной из этих

халуп, возведенных под крышу, меня частенько привязывали веревкой к скамье и драли розгами, чтоб, как говорили старшие, вышибить из мальчонки какой-то «чéмер». Что это за хворь, я долго не понимал. Как-то раз услыхал от матери моей, Матрены Ивановны, женщины худой, изможденной, похожей на великомученицу, что во мне «чертяка сидит». Потом я узнал, что «чéмером» называют падучую болезнь и считают ее смертельным недугом.

Школы в деревушке не было, рос я диким, неграмотным — полено поленом! Уже в девять лет стерег телят. Занятие не из завидных, но оно давало мне и моим братишкам хлеб насущный.

Несказанной радостью было для меня убегать в лес-гай, под защиту дубов, настолько высоких, что казалось, выросли они до самых небес. Лес-гай шумел тут же, у халупы. Проникавший сквозь дубовые ветви нечаянный свет ослеплял душу. Буйное солнце в летних дубах — какой это мимолетный и неповторимый сон!.. Ведь ранняя моя жизнь в избе, с самого беспечального младенчества, походила на жизнь в подземелье. Судьба беспощадна была ко мне.

Запомнился такой случай. В хату к нам, как почудилось мне в бреду, забралась страшная баба с зазубренной косой — костлявая смерть. Стала и машет перед моими глазами костью. Я в ужасе подхватился на полатях и полетел сторчь — головой вниз. Очутился на земляном полу, под столом, разбил до крови башку. Завыл.

Чую, опять меня дерут розгами. Теряю сознание...

Очнулся за порогом избы, на дворе. Валяюсь иссеченным животом на сухом бурьяне. На грудь мне кто-то льет из глиняного кувшина холодную воду. Ухо разрублено. Один глаз запух, над ним до кости рассечена бровь. Другим глазом различаю сперва-наперво у самого моего носа хромую ногу в опорке. Узнаю: нога дядьки Андрея, седоволосого старика, похожего на святого Николу-Верижника. Оказывается, это дядька вытащил меня из избы и порол, «чéмер» изгонял, а теперь вот окатывает холодной водой.

— Не надо воды! — пищу я дохлым комариком.

— Для освежения мозгов! — угрюмо бубнит дядька.

Около меня мечется с оханьем мать. Старший братишка, рыжеватый Юрчик, плачет. Соседский сорванец Гришка Титочкин хохочет. А в стороне — тихая тетка Аксинья, жена хромоногого дядюшки Андрея, сердобольная моя заступница, молчаливая труженица. Над всеми развевает белым своим барахлом старуха соседка, горбоносая бабка Палага, в домотканной паневе и темном дерюжном платке.

Все это я видел единственным глазом, превозмогая жгучую боль от раны и не шевелясь. Но как бы впервые разглядел я тут вершины трех могучих дубов, гудящих на ветру у халупы, под ослепительным солнцем.

Ко мне все лезут с вопросами:

— Жив аль окоченел?

— Голова проломлена?

— Глаз вылетел?

— Ухо отсечено?

— Уж лучше б сей час отдал богу душу! Покеда он — ангелок, душенька его пошла бы прямо в рай!

— Качай! — хватают меня за ноги и за руки Юрчик с Гришкой. — Откачаем, глядишь — душа евонная и возвернется.

Они отчаянно раскачивают: вот-вот оторвут руки и ноги. Боль наполняет все тело огнем. Но я креплюсь, молчу. И лишь слезы, смешанные с кровью, падают из глаз.

Бабка Палага, ворожейка, скрестив руки и отойдя в сторону, запричитала что-то непонятное. Только много лет спустя, не один раз слушая, запомнил я от слова и до слова бабкин наговор:

Зачем ты родился
На свет, голубочек,
Без светлой судьбины,
А с лютой судьбой-лиходейкой?!
Зачем обнимал землю
Крестообразно,
Дите мое сирое,
Неразумное,
Дите разнесчастное,
Больное дите!..
Уйди от соблазнов,
Тихой ангелочек,

Сложи свое сердце
Во сырую землю, —
Душа твоя пойдет в рай...
Так и надо, штобы в рай!

— Не скули, бабка! — кричат на нее Юрчик и Гришка. — Тимонке жить надо, а она его в рай гонит.

Ребята бросают меня наземь. Тетенька Аксинья наклоняется надо мной, целует в распухший глаз, ободряет. И повествует о сегодняшнем событии в нашем селе.

Только что сгорела каменная ветряная мельница на горе, окруженная столетними дубами. Мельница была такая высокая, что вершины дубов приходились ей по пояс. А когда в бурю крышу ее охватил пожар, то горящие крылья, крутясь, разбрасывали огонь по всему нагорному саду. И тут-то загорелся спирто-водочный завод над рекой.

Со всего села сбежались мужики с баграми. И вдруг громадные крылья мельницы обрушились. А на заводе взорвался от огня чан со спиртом. Четыре мужика погибли в огне. Конторщик, винокур Сумароков, — внучатый племянник древнего сочинителя Сумарокова — тотчас сошел с ума, а две его дочки-невесты сбежали в потайные хоромы к хозяину, помещику Домбровскому. Там, средь розовых зарослей, и запропастились.

— Сам хозяин и поджог учинил, чтоб заполучить страховку, — говорит дядька Андрей, переминаясь на хромой ноге и тряся седою головой. — Все панское добро пошло прахом. Так тому и быть!

— Ох, уж лучше ты замолчи, старик! — останавливает его тетенька Аксинья. — Мало, что ль, попил ты этого спирту? Теперь конец тому яду!

И впрямь был конец. Завод сгорел дотла. Даже каменные стены от взрыва развалились.

Бабы убивались о погибших мужиках.

И вот, когда тетенька Аксинья давеча шла с пожара через барский сад, повстречалась с ней неизвестная странница и зашептала:

— Приходит всем последний конец — людям лукавым, рукам загребущим. А лугам многоцветным, ду·

бам тысячелетним, да и всей земной красе — тоже провал. А так как место, на котором мы стоим, свято, то надо спасать сейчас детей, загубленных чéмером! Беги скорей к Матренину мальцу! На него напал чéмер! .. Спасай! ..

Как раз в это время тетка Аксинья и услышала мой неистовый крик из избы.

И прибежала «спасать» меня. Поведав о наказе странницы, подхватила она крынку с «иорданской» водой, прошептала над ней какие-то заветные слова и, набрав воды в рот, брызнула мне в лицо крест-накрест с выкриком:

— Говори: «Отрекохся! .. От чéмера! .. Отрекохся! ..»

А я молчу, не в силах выговорить ни одного слова. Но тело мое от «иорданских» брызг вздрагивает. Все кричат:

— Ожил! Проняло! Выдержала натура!

Старуха Палага причитает невпопад:

Натура — дура,
Судьба — лиходейка,
А жисть — копейка!

— Ты этак про ангелочка, ведьма? — кидается к ней дядька Андрей и замахивается палкой. — Расшибу! .. Тикай, лиходейка!

Палага, как пыль, исчезает. Матушка схватывает меня в охапку, залепливает рану листом подорожника, перевязывает опухший глаз и рассеченное ухо. Потом ставит на колени лицом к востоку и заставляет кого-то просить:

Дай мне
Ум и разум,
Доброе здравие,
Дарование. . .

Куда там! .. Язык не ворочается. Едва держусь на ногах. Но солнечный свет бьет в мой единственный глаз так ярко, а темнозеленые вершины дубов шумят надо мной так торжественно-трубно, что я и без этих слов знаю: будет мне и ум, и разум, и доброе здравие, и дарование.

## 2. НЕ БУДЬ РАБОМ!

Полюбил я родную землю и звездное небо над ней, высокие холмы, увенчанные вековым необозримым садом с величавыми липами, чернокленами, зелено-синими ясенями, темными дубами над зеркальным «плавом», над безмятежным синим прудом-озером.

В бездонном зеркале вод отразились зеленокудрые заросли камыша, опрокинулось куполообразное светло-голубое небо с неподвижными златоперыми облаками, и казалось, притаилась вся душа вселенной в созерцании этой земной красоты, заслушалась неуловимой музыкой природы. А люди тяжкого труда и сердечного горя примирились с обидой и болью жизни и в поте лица добывают свой хлеб под жизнедатным июньским солнцем.

Матушка моя с братишкой Юрчиком и теткой Аксиньей ушли на прополку огорода. Меня же дядька Андрей усадил на смолистую новую скамеечку возле курной избы, над берегом плава, где он пристукивал сапожным ловким молотком, — «пришпандоривал», как он любил говорить, — новую подметку к старому сапогу. Обучая меня сапожному ремеслу, дядька стал рассказывать о недавнем крепостном бремени.

— Запомни, малец, мое слово: вырастешь — не будь ничьим рабом. Лучше будь нищим, голодным, больным, мертвым, черт возьми! .. только не презренным рабом! Мы вот родились рабами помещика Забелина-Залогина. Отец наш, а твой дед Родион Дмитрич, был ткачом, а мы — три брата и две сестры — прядильщиками. После того я стал сапожником. Земли нам не полагалось. Кормились «отсыпным пайком», ну, а ежели не выполнишь оброк, то и паек отнимали да гнали на конюшню. А это, брат, хуже смерти. Зато, когда в шестьдесят первом вышла воля, а барин заметался по саду вроде сумасшедшего, я ему от радости вышиб молотком зубы — и был таков. На другой день барин издох. Потом мне панская челядь из-за него на конюшне, на пытке то-ись, вывихнула ногу. Но все равно мы зажили вольным трудом. И когда меня оженили, я дал зарок не иметь детей, не плодить

на свет божий рабов. Был я и в Курске и в Харькове, зарабатывал деньги, по гривеннику раздавал нищим. А так как и днем и ночью мне снились вот эти столетние сады-парки да озеро наше сказочное, то и возвернулся я сюды.

А второй мой брат Тарас помер плотником на чужбине; померла и жинка его. Остались от них двое ребят: Миколка да Митька. Миколай — подросток — ушел на заработки с твоим отцом. Столярничают там где-то в Адесте. Кажную весну туды уезжают. Вот вы, мошкара, оттянули своему отцу шею на цельный аршин! Твоя мать — из духовного званья, псалтырь читает, работящая, разумная. Высватали ее отцу наши однодворцы, Рубановы. Но вы, мошкара, замордовали и матушку свою бедную. И теперь у всех у нас одна только отрада — сады-парки да это озеро...

Расспрашивал я одного здешнего старика, деда Корнюху. Так он говорит, что из-за этих садов-парков, из-за дивного плава-озера шла столетняя война у князьев Барякиных с графами Толстыми, с ихними мужиками, шла со времен царя Грозного. Тут вон, за теми холмами, по реке Клевени, лежит граница Украины. Грозный, значит, загнал Барякиных к холмам, а они, Барякины-то, вцепились тут, на границе, за эти лесистые холмы и давай садить посереди дубов и кленов яблоневые сады, на речке Амонке плав загатили. Тогда ж и подоспели графы Толстые. Не долго думая, разорили они мужичьими толпами плотину Барякиных, а выше, на Амонке, построили свою греблю. Барякины, понятное дело, разгневались и двинули стеной своих мужиков на Толстых. Сто лет, говорю, заворошка эта самая тянулась.

За то время Украина к Московии примкнула. Но у хохлов были свои гетманы. Один такой гетман, Иван Степанович Мазепа, беглый из Польши, облюбовал себе владенье под Рыльском, возле реки Сейма, и даже назвал в свою честь три больших села — Ивановское, Степановка и Мазеповка. Здесь Мазепа вовсю пировал со своей челядью. На какой-то пирушке царь Петро возьми да и дерни гетмана за ус. Мазепа затаил злобу и изменил Петру в битве со шведами под Пол-

тавой. А Петро в отместку приказал все Мазеповы владенья передать князьям Барякиным. С той поры Барякины переселились в Ивановское. А через сотню, что ли, лет вот эти сады-парки с озером-плавом продали аль переуступили Радищевым. И меж ними втиснулся Забелин-Залогин. Вот оно как, люди сказывают, получилось-то! ..

Радищевы сами делали деньги и книжки печатали. Построили, значит, они три завода — кирпичный, сахарный и водочный, на холме — каменный ветряк, а на плаву — водяную мельницу; завели скотину племенную, откармливали ее бардой и через вторые руки гнали на скотобойню в Москву.

А в Турке жизнь цвела, щелкали целые стаи соловьев. На этот плав, в камыше, прилетели откеда-то дикие лебеди. В саду-парке загремела музыка. По звонку к береговым цветам сплывалась табуном озерная крупная рыба — лини да головли. Гости из Москвы приезжали на лето отдыхать, сама царица Катенька со светлейшим Потемкиным мимоездом с большака заворачивала — большак-то рядом! .. Они сразу и угнали молодого хозяина Радищева в Сибирь, на восток, в Тумень, узнав через сыщиков про его свободолюбие. Там и погиб задарма он. И все из-за своей вольнодумной книжицы. Правдолюб был... А доносил на него глупый древний старик, дед хозяина других мужиков — замухрышка Забелин-Залогин.

Прошло еще с полвека, на Расею двинулся француз и забрал Москву нашу первопрестольную. Но его оттедова скоро вытурило войско Кутузовское и даже до ихнего Парижа русские солдаты добрались, самого Бонапарта сцапали. Когда, значит, наши генералы-ерои возвернулись с похода, первым поселился тут, на лесистых холмах, над плавом, генерал-ерой Раевский с домочадцами. К нему, при проезде в полуденный край, заезжал сам сочинитель Пушкин, Александр Сергеич, и вырезал ножом на ясенях свои буквы... Еще и теперь заметны.

Но генерал не умел сам делать деньги и сочинять книжицы, потому скоро и прогорел: сады-парки с плавом-озером, заводы и мельницы перепродал генералу

Боговуту, тоже ерою. Через десяток лет зачалось Севастопольское сраженье-сиденье, а еще через десяток — вышла мужикам воля. Боговут вылетел в трубу. Погребли его в парке под мраморным памятником, а именье перешло к купцу Золотареву, потом — к поляку Домбровскому. Тот выплатил за именье только полцены, а за остальную половину выдал Золотареву залоговую. И вот, чтоб расплатиться к сроку, сжег поляк мельницу и водочный завод, в чаянье получить страховку. А Золотарь не будь дураком и «шарахнул» в суд залоговую. Ну, и пошла потасовка! Паны дерутся, у мужиков чубы трещат. Четыре мужика сгорели у спиртового чана, а в поджоге многих обвиняют. Но все равно панам не сдобровать: народ добьется правды, и вся земля, рано аль поздно, перейдет к народу. Истину тебе говорю.

И закончил свой рассказ дядька Андрей так:

— Правда, малец, краше солнца! Как вырастешь — не гонись за золотцем, а будь молодцем.

Солнце припекло мне макушку, я обомлел от жары и плохо понимал тогда из того, что говорил дядька (вспоминая, понял это гораздо позже), но одно мне было ясно: промеж людей шла война из-за дивных садов-парков, из-за плава-озера.

## 3. ДЕД КОРНЮХА

А плав был так прекрасен в зеленокудром окружении богатырских рощ и златисто-голубом небесном сиянии, что становилась понятна потасовка меж людьми из-за такой неземной красоты.

Вон, за избой, под ветлами, два старика в посконных рубахах тянут у берега бредень. Один дед, весь какой-то зеленый и лохматый, похожий на колдуна, барахтаясь в воде посреди золотистых цветов-кувшинок, кричит утробно:

— Эй, Андрей Родионыч! Разуважь Корнюху, лезь к нам покупаться, линьков-караськов живых отведать! Пользительно! Благодать. . .

И, достав из-за пазухи горсть трепещущих малень-

ких линьков, рвет их, живых, своими крепкими зубами, аж под бородой ходуном ходят у него скулы.

Дядька бурчит себе под нос:

— Вот он, дед Корнюха — лошадиное ухо... Сто двадцать семь годов человеку, а, вишь, лазит по плаву с бреднем!.. Били его паны смертным боем на конюшне за кражу спирта. А он с того еще крепче сделался. Сынов, внуков, правнуков похоронил давно, а сам живет... потому питается свежатиной, глушит спирт и через то имеет стальные зубы и веселый норов. Хлюст, да и только!

— Гляди-кась, родной! — достает вдруг дед Корнюха из-за пазухи штоф огненной влаги и выползает сам, весь в тине, с бродником на берег. — Мой спирт — старка: и в огне не горит и в воде не тонет! Двадцать лет держал его в погребе. Не вино, а магнит! А ну, хватим, Андрюх!

— Коли ежели магнит — то можно, — соглашается дядька. — Притягивает!..

И оба, поочередно опрокидывая одну за другой стеклянку, жадно глотают булькающую влагу. Потом дед Корнюха хлопает меня костлявой ладонью по загривку и сует горлышко бутылки мне в рот:

— Лучшего лекарства, чем старка, нету! Жарь, пацан!

Но едва я глотнул водки, как все внутренности обожгло огненной волной. Мнилось, дед Корнюха сковырнул меня щелчком со скамейки, а я шустрым нырцом поплыл по «плаву».

Оказалось, это был обморок.

## 4. ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Под вечер меня перенесли в избушку. Я сидел у раскрытого оконца на табуретке и поглядывал уцелевшим глазом на двух своих бесшабашных сверстников — Романа Лыська (на черной макушке у него торчал белый вихор) и Петьку Кудаду, который подолгу рассматривал свой указательный палец на левой руке и время от времени с наслаждением сосал его как ле-

денец. Оба они дрыгали босыми ногами на печке и надрывно кричали в открытую трубу, подражая моим братишкам — Юрчику и Митчику, что, лежа на печи, вызывали: один — отца, а другой — брата Николая, из дали, из «Адесты»:

— Тятька-а, приезжай домо-ой, а то нам невмоготу-у-у! — трубил Юрчик.

— Микола-а-ай, возвертайся, я скоро помру-у-у! — вторил ему Митчик.

А в это время на дворе, за плетнем, Гришка Титочкин отчаянно ругался, жалуясь кому-то, что Юрчик и Митчик будто бы, при недавнем возвращении на телеге с пахоты, отказались его подвезти домой.

Митчик, услыхав Гришкину брань, погрозил ему в окно.

— Заткнись, а то ноги повыдергаю!

Юрчик, соскочив с печи, вдруг подсел ко мне.

— Ожил, птенчик? — спросил он озабоченно. — Крепись! Вишь, Ромка со Петькой пришли тебя проведать. А скоро и маменька возвернется с работы, даст тебе кашки... Глаз-то у тебя цел?.. А ухо?.. Не болит? Это бабка Палага тебя отходила.

«Отходила» меня бабка Палага, по Юрчикову рассказу, так: перевернула на мне, беспамятном, рваную мою рубашку наизнанку, воротом-прорехой назад; потом налила из ведра «иорданской» воды в крынку, бросила туда несколько углей, пошептала над крынкой да и вылила святую водицу из крынки прямо мне на голову. Я закрякал, а бабка оживилась: угли не всплыли, потонули, что означает — жить мне до ста лет.

— Понял? Сто годов будешь на солнце глядеть, — подбадривал меня Юрчик. — Ну, а коли бабка Палага наврала, и ты помрешь, и тебя начнут класть в гроб, не робей: я так ущиплю тебя, что ты крякнешь, вмиг подхватишься на ноги и бегом из гроба. Живи — не тужи!

С печки закричал Митчик:

— Натягивай ведьме-смерти нос — все сто лет проживешь, как дед Корнюха!

— Молчи ты, Митька!.. — послышался за окном

голос дядьки Андрея. — Марш ужинать! Скоро в ночное ехать.

Митчик кубарем скатился с печки. А я заснул.

Чудится мне: уплываю я куда-то на синих волнах далеко-далеко, на край света, уносят меня волны в широкое-широкое море, на дне его старуха-смерть притаилась, норовит меня оттуда зазубренной косой достать, ан не может, злится, хохочет от злости, а не может... Я плыву и плыву... Так и проплавал до рассвета.

А утром, когда очнулся я от сна-сказки, то глаз у меня был развязан. Над левой бровью торчал засохший лист подорожника. Опухшим глазом я различаю сквозь узенькую щелку Юрчика и Митчика. Они везут меня на телеге дядьки Андрея в лес, куда-то навстречу заре.

Другим глазом, здоровым, охватываю я всю дивную игру утренней зари над вершинами дубов, их сказочное отраженье в зеркале вод, горную лесную дорогу меж могучих корней, ладанные ленты голубого тумана и заросли орешника у трехобхватных стволов. Над самой дорогой, вижу, склоняются дикие груши. И зеленых плодов на них больше, чем листьев.

Присматриваюсь: худющая серая кобыла Пчелка, вытянув жилистую шею, едва волочит немазаную нашу повозку. Рядом шагает Гришка Титочкин. Юрчик с Митчиком наперебой хлещут Пчелку по костлявому крестцу, хлещут то вожжами, то кнутом и ссорятся: кому из них править лошадью?

Кобылка досталась дядьке Андрею после смерти Митчикова отца, почему Митчик и считал себя полноправным хозяином Пчелки. Мальчик водил ее в ночное, пахал на ней десятину яри, арендованную дядькой Андреем у старшины Шугуренка (у этого Шугуренка батрачил мой братик Степка — меньший, чем Юрчик, а третий братишка, Родион, пропал где-то в приемышах). Юрчик же болтался у дядьки Андрея с боку припека. И Митчик поэтому определил, что, дескать, я и Юрчик — «дармоеды и шаромыжники», так как едем на чужом возу в город Рыльск за своим батькой. А батька наш, сказывают, возвернулся вместе с Николаем — братом Митчика — из «Адесты» к хлебной

уборке, чтобы батрачить. Стало быть, его тоже придется подвозить из Рыльска домой бесплатно.

О том, что батька и Николай прикатили вчера на чугунке в Рыльск, поведал этой ночью стихописец Чемесов. Этот Чемесов — из здешних крестьян-самоучек. Говорят, познакомился он с дядькой Андреем еще в Курске, когда дядька там сапожничал, а потом, будто бы разузнав про зори дивные да про песни соловьиные, которых нигде лучше нет, как в Турке, приезжал сюда каждое лето отдыхать.

Вот и сейчас он тут как тут. И вчера в рыльском трактире «Заря» встретился с нашим батькой и Николаем. Они и передали через него наказ в Турку прислать за ними в город Пчелку, так как у них три больших ящика с инструментом — непосильная ноша.

Дело в том, что как раз во время их встречи в трактире пожарный с городской каланчи оповестил трактирных завсегдатаев о пожаре каменной мельницы в Турке. Чемесов сразу же укатил туда на извозчике и ночью пробился к дядьке Андрею. Теперь вот прохлаждается в дядькиной надречной хате и стихи пишет, раздраконивает в своих побасенках панов прогорелых и попов расстриженных.

Так говорил Митчик.

А раздраконивать было за что. Паны-жулики передрались, дьяки, попы-расстриги перепились. Старая церковушка в Турке разломана. Новую затевает строить в саду повытчик — взяточник Звягин для отпущения своих грехов. И тут же такое случилось: старый поп Виктор Викторов приказал долго жить, дочка его Раиса, невеста, гонит из «буряка» самогон, сама его попивает да еще для красоты натирает бодягой свои щеки, а гадальными картами заманивает в хату женихов; только женихи бегут от нее как от чумы. Недавно в Турку прислали нового попа, из дьячков, — Ивана Архангельского. У этого тоже есть дочка, красавица Антонида, лукавая, хитрая, себе на уме. Скользит она, будто некованая молодая кобылка по льду: ни нашим, ни вашим. А все ж кто-нибудь ее да подкует!

— И всех их, нерадивых, обязательно пропишет

в курской газете стихоплет Чемесов! — уверял Митчик. — А вы, шаромыжники, налипли на мою шею, как хмарные мухи, — заключил он свой рассказ. — Что я с этим одноглазым буду делать, ежели он сверзится с повозки? У меня у самого лихоманка, голова трещит будто разбитая тыква. Может, я завтра помру... А ну — слазь, мошкара!

С отчаянным плачем вцепился я в Юрчикову рубаху, а Юрчик молча свернул толстую цыгарку из самосада, достал из-за пазухи кресало, высек огонь на березовом труту, затянулся ядучим дымом (дома, помню, наша мать била Юрчика как-то кулаком по голове за куренье, а все без толку), вырвал у Митчика вожжи из рук и скомандовал залихватски:

— Отвяжись, худая жисть! Мы едем за батькой! Н-но-о!

А я ревел. Откуда-то из-за громадного ствола подскочил вдруг ко мне Гришка Титочкин, схватил подмышки, стащил с повозки, усадил на придорожный мох и пригрозил:

— Сиди, не шевелись, шевельнешься — в черта обернешься.

Захохотал и нырнул в орешник.

Повозка скрылась за дубами.

Гришку я не любил. Но соображаю: ежели ослушаться, он меня тут, в лесу, забросит и тогда — конец мне.

Посидел, посидел я — кругом тихо. Только по верхушкам деревьев расхаживает ветер, клонит их то вправо, то влево, забавляется. А Гришка пропал...

Поднялся я и направился по дороге домой.

Лес, пронизанный солнцем, провожал меня приветственным шумом.

Эх, повидать бы скорее песельника Чемесова. Он — я верил — все видит, все знает заранее, все слезы людские стекаются к нему ручьями, и собирают их в хрустальную чашу его горячие песни. Осушит он и мои напрасные детские слезы.

На дороге встречает меня другая моя тетушка, Прасковья Родионовна — сестра отца, маленькая, согбенная жница с серпом на плече. Прибежала она

из-за плава, с Боговутовки (где ее хата), помочь моей матери в жатве, прослышала от нее и от дядьки Андрея про наказ отца повстречать его в Рыльске и бросилась за мной по лесной дороге на розыски.

И разыскала!

— Вот он где, болезный! — обнимает она меня. — Середь леса, не боится ни волков, ни ведьмов. . . И глаз заплыл и мордашка в слезах. . . Что же вы не слухаетесь маменьки своей, непутевые, терзаете ее? . . Где же Юрчик?

— Поехал на Пчелке за батькой, — урчу я.

— Один?! Да ведь ему и тринадцати лет нету!

— А он с Митчиком. . .

— Да ведь и Митчик не старше!

— Ничего. . . Они уже дерутся как мужики.

— Батюшки! И тебя сбросили с повозки?

— Нет, это не они. . . Это Гришка Титочкин меня стащил на дорогу, приказал не шевелиться, а сам где-то в кустах пропал. А я в дядькину хату иду, к песельнику-правдолюбу.

— Не пущу никуда! — наотрез говорит тетушка. — На тебя страшно глядеть, на чумазого. Идем ко мне на Боговутовку. В озере умою, молочка дам.

Чую — упираться бесполезно. И мы идем через став-плотину на Боговутовку.

В светлой холодной воде умывает меня тетушка, трет глаза, щеки, руки, ноги. И за мною, откуда ни возьмись, увивается уже Шарик — шустрая беломордая собачка дядьки Андрея.

Когда мы вышли на боговутовскую улицу, перед нами открылось страшное зрелище: громадная толпа мужиков подбрасывала кого-то, будто мешок с мякиной, на кулаках, ревела, била палками по голове, рвала одежду в клочки. Изо всех дворов бежали к месту потасовки женщины, ребятишки, старики. А впереди всех гарцевал на иноходце, с охотничьим ружьем в руках, какой-то бородатый смельчак в шляпе, лез на толпу и отбивал прикладом от железных мужичьих кулаков обезумелую жертву.

Все кричали истошно:

— Бьют винокура сумароковского!

— Через него люди сгорели!

— Дочки его сбежали к барину!

— Сам он барский прихвостень... Спятил с ума!

— А этот куды лезет против громады? Кто он, откеда?

— Газетчик Чемесов!.. Разорвут и его, петуха.

Но из ружья песельникова вдруг вылетел огонь, прогрохотал выстрел.

Толпа бросилась врассыпную. А я с Шариком метнулся в междворный пустырь да там и засел.

Под вечер повела меня тетушка Прасковья в нашу хату, на Залогинке (она ж Митевка, она ж Знаменка), в хуторок, на левом берегу речки Амонки, превращенной в «плав-озеро». Меж этими двумя хуторами — Боговутовкой и Залогинкой — на крутой горе ютился третий, заселенный однодворцами (государственными крестьянами) хуторок Рубановка. Все три хутора объединялись под одним названием — Турка. Это название прилепилось к ним потому, что здешние жители спокон веков слыли разбойниками, «турками».

Обо всем этом рассказала мне по дороге тетушка. Она вела меня, крепко держа за руку.

На плотине орудовали панские рыболовы с сетями. Мы, чтобы остаться незамеченными, перебрались через речку ниже плотины, в сплошном лозняке. Вдруг где-то поблизости послышался скрипучий голос Гришки Титочкина. Кого-то разносил он на чем свет стоит. Ругательных Гришкиных слов я не понимал, но мне говорили, что отважиться на такую ругань могут только особо храбрые, отчаянные головы. Поэтому я перед Гришкой невольно испытывал какую-то робость, смешанную и со страхом и с уважением.

А тетушка сокрушалась:

— Ишь, дьяволенок, как бранится! Уж это так и знай, чего-то набедокурил.

Она метнулась в лозовую заросль, к нижнему перевозу на речке, и всплеснула там руками: в воде, колесами по самые ступицы, торчала повозка дядьки Андрея, а рядом, в запряжке, по колена в грязи, шаталась на костлявых ногах Пчелка. Под кустом лозы на берегу лежал в беспамятстве Юрчик, еле дышал.

— Ой! .. Окстись! Что с тобой? — затормошила Юрчика тетушка и тут же забормотала с надрывом: — Замучили вы свою мать! Она жнет в поле, а вы головы себе разбиваете. Ох, разбойники!

Юрчик повел белками, дрыгнул босой ногой, но ничего не ответил. А на повозке, из-под соломы, высунулась вихрастая белобрысая голова Митчика. Он пробормотал:

— Мы с Черемошек заслышали пальбу на Боговутовке, завернули через этот перевоз, а Гришка, пес, пуганул Пчелку из-за куста. Она рванула повозку и влетела в речку. Юрчик еще на берегу под колеса опрокинулся. А я с Пчелкой застрял вот в речке... И у меня озноб... голова разломилась напополам.

— Да чего же вы тут ждете, дохляки? Сейчас же домой! .. Мучители! .. — не унималась тетушка.

Но Митчикова голова опять зарылась в солому. Тогда тетушка подхватила стонущего Юрчика подмышки, взбросила его, а потом и меня на повозку, натянула вожжи:

— Но-но, Пчелка, вперед, го-го-о!

Пчелка вытащила повозку из речки и поплелась по колесному следу к хутору.

В окнах хат светились уже огоньки, когда немазаная наша телега остановилась возле хаты дядьки Андрея, на пустыре.

Не успели мы переступить порог, как дядька Андрей набросился на нас:

— Где батька? Где Николай? .. Где вы целый день пропадали, чертенята?

— Да они сами себя умаяли, — оправдывала нас тетка Прасковья. — Гришка, вишь, напужал Пчелку. Хлопчики совсем было утонули...

Юрчик и Митчик кряхтели, охали — никакого толку от них не добиться. И так как надо было сейчас же показать этот толк, обнаружить свою смелость и храбрость, то я, не задумываясь, выпалил во весь голос подслышанную мною Гришкину брань.

— Вот как он нас обзывал, — пояснил я, сам не понимая смысла повторенных мною слов.

Маменька сама не своя стала.

— Замолчи! — крикнула она и схватила веник, чтобы отстегать меня. — Если ты еще хоть раз помянешь эти поганые слова... — замахнулась она веником, но тетушка Прасковья остановила ее:

— Не тронь его. И так замаялся хлопчик — сил нет, страху какого пережил!

И матушка, заплакав, сменила гнев на милость.

Вскоре тетка Аксинья увела нас к себе в хату. Там на столе шипел самовар, сверкал сахар в сахарнице, дымились блюдечки с налитым кипятком-чаем.

Тетенька Аксинья говорила:

— Бери! Похлебай чайкю с сахарком, болезный мой. Сахарок баламут Чемесов привез. Ждали твоего батьку с Николаем, ан не дождались. Так пей хоть ты, горемычный!

С утра я ничего не ел и не пил. С жадностью подхватил я блюдечко с кипятком, руки у меня задрожали и блюдечко — кувырк на скамейку.

— Ох, и непутевый же ты... — закачала головой тетка Аксинья. — Но ничего: посуду бить к счастью.

Нагнувшись, она подобрала с пола осколки старого, уже пожелтевшего блюдца.

— А что такое счастье? — спросил я.

Тетушка улыбнулась:

— Это, Тимонек, птица такая... Красивая, красивая, редка, как черная лебедь, мимо нас она летает. Ловить ее надо, хлопчик!

### 5. ПЛЯШИ, ВРАЖЕ, ЯК ПАН КАЖЕ!

Тетушка Прасковья ушла в темную ночь на Боговутовку. Через уличку, в противоположной баюшкиной хате, стонал под окном Юрчик. Его отхаживала каким-то зверобойным снадобьем бабка Палага. Митчик лежал в дядькиной хате, на камышовой койке, ему тоже недомогалось.

А на пустыре бурьянном плакала о нашей горькой доле маменька.

Дядька Андрей, гремя костылем, сетовал:

— Без детей горе, а с детьми — вдвое. Какие у ра-

бов дети? Рабье отродье, сеченые плечи! Работай на разных хозяев, а сам подыхай с голодухи. И кости поломаны, и харя разбита, и выветрены мозги. Понасовал царь везде начальников-хозяев: тут тебе — земский хозяин, там — хозяин уезда, губернии. Ну, как в сетях живем, так, должно, и подохнем под ярмом! А царь-глот потакает панам.

— Царь царю рознь, — перебивает тетка Аксинья.

— Все они единым миром мазаны. Один дает тебе для видимости волю, другой шкуру с тебя спускает. И это будет всегда, покеда есть на свете рабы, — заключил дядька Андрей.

— Нет, уж крепостного права больше не будет, шабаш!

— Была б спина, дубина найдется... Ярмо! Кто б из богатеев ни затесался наверх — все равно будет гнуть раба в бараний рог. Сосать из него кровь.

— Молчи, старик! Сам ты раб. Измочалился. Злобствуешь... Зря!..

— Это я-то раб? Я самому Залогину зубы молотком вышиб!

— А тебе за то ногу сломали.

— Кормлюсь и без ноги.

— Кормежка кормежке розь. Хлеб-то у нас с мякиной.

— А сахару тебе мало?

— Так это ж чужой сахар! Баламутовский.

— Не баламутовский, а Чемесовский! Заруби это, старуха, у себя на носу. Чемесов самих губернаторов стихами разделывает под орех, не только замухрышек там разных, земских. И сам он — из мужиков. Мы с ним подружились еще в Курске, когда я ему в юности шил там новые сапоги. Сердешный человек, что и говорить!.. Подожди, возьмет он за жабры наших панков — будет у нас и ветчина, будут и булки!

— Какая там ветчина? Какие булки? — безнадежно махнула рукой тетенька Аксинья. — Не до жиру, быть бы живу! Ребята вон подыхают — от чего? От мякины...

В дверь протиснулась голова маменьки, прикрытая рваным платком.

— А где ж достать хлеба, коли земли у нас нету? — вмешалась она в разговор. — Бросили нас, вишь, без земли, после воли. Говорят, землицу дадут безземельным. Да когда это будет? Пока солнце взойдет, роса очи выест. И ребятишки поумирают.

— Может, я и не дождусь, семьдесят семь лет уж мне стукнуло, а землю у панов отберут! — крутнул седой головой дядька Андрей. — Чемесов все видит, все знает. Он сам мне говорил про то... и про землю и про волю... Придет срок, провалятся паны в тартарары.

— Никто этого не знает, — печалится маменька.

— Живет Чемесов средь мужиков недаром!..

— Да он сам, может, из панов?!

— Из мужиков он, а не из панов, говорят тебе! В Курской газете — главный заводила, прохватывает всех наскрозь. А городскую одежу-рвань носит так, для отвода глаз.

— И его не схватывают за то, что он прохватывает?

— Газета деньги платит, да еще какие! Сто рублев в месяц! Потому — больно хлестко у него выходит. В стихах! Завлекательно!..

— Днем на Боговутовке он, говорят, из ружья палил. За винокура сумароковского вступился. Не дозволил над полоумным расправу чинить. И ребятишек наших, вишь, выпугал насмерть. Принесла его нелегкая к нам в Турку.

Из темноты, под открытым окном избы, раздался вдруг голос:

— Принимай, Родионыч, нелегкого путника!

И вслед за тем в окно полетела прямо на скамью разная поклажа.

— Окорок — раз! Фляга с вином — два! Буханка ситного — три! Коробка с конфетами — четыре! — басил кто-то под окном.

Закричал дядька Андрей:

— Ой, друг закадышный... Приперся Чемес!.. Легок на помине.

Это был Чемесов — в помятой шляпе, коротком пиджаке и выпачканных солдатских сапогах. На усталом его лице с оттопыренной мочальной, уже седею-

щей бородкой выделялись острые, как бы впивавшиеся в человека глаза. Вошел он в хату и тут же торжественно признался дядьке Андрею:

— Подарок! От дочек винокура... Умолили меня, чтоб спас я ихнего сумасшедшего папашу от самосуда. Схватили его мужики сгоряча. Было б дело... Ну, я мигом — на коня, ружье — на перевес, врезался в толпу, пальнул вверх. Сразу порядок навел. А потом передал его, шального, в сохранности дочкам. Дикости я никакой не терплю... Выпьем по этому случаю, Родионыч! Сторонись, богачи, беднота гуляет!

Маменька с теткой Аксиньей с испугу метнулись в сенцы, тревожно зашептались:

— Сумасшедший!.. Баламут!..

Чемесов тем временем невозмутимо откупорил жестяную флягу, налил вино в чайную чашку, выкрикнул хрипло:

— По маленькой, Родионыч! А на бабьи тревоги плюнь и разотри!.. Где твои плотники-сродственники? Притащились из города аль нет еще?

— Нету их, — развел руками дядька Андрей. — Послал было за ними мальцов на телеге, да они вон не доехали... пальбы твоей перепужались, возвернулись.

— Мы, мужицкое отродье, с детства все перепуганы, иссечены, — рассуждал Чемес. — А как вырастаем — наводим страх на панов. Насчет же того, будто я детишек перепугал, — это бабья дурь. «Вперед — без страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья!» — пропел он и так чокнулся с дядькой, что из чашек их выплеснулось вино.

Я не спал и думал: за что Чемесов нападает на маменьку и тетку Аксинью? Почему у них «бабья дурь»? Мне их обеих было жаль. С тех пор как я помню их, безропотно несут они тяжкое бремя деревенских бесхлебных тружениц: ходят в лес за дровами, носят воду в деревянных тяжелых бадьях, моют, стирают белье, прядут, ткут посконь, полют огороды, жнут, молотят, копают лопатами картошку, вяжут варежки и чулки. А в награду получают — «бабью дурь». Эх, не нравится мне песельник! Не нужно и его угощенье.

Но голод заставляет все-таки взглянуть глазком на буханку хлеба, на конфеты...

...Тишина, чавканье, звон чашек.

И вдруг открывается настежь дверь. В хату вступает широким шагом запыленный черноглазый Николай с ящиком на спине и гармонью на ремне через плечо. За ним — отец.

— Николай Тарасыч! Друг!..— бросается навстречу Чемесов.

Из отрывочных разговоров Чемесова с бородатым отцом моим и хмурым, но шустрым Николаем (у него залихватски были подкручены черные усики на загорелом лице) понял я, что в Одессе отец и Николай плотничали у одного хозяйчика-нанимателя, потом перессорились с ним; хозяйчик нагло надул их при расчете. Николай избил жулика, после чего оба плотника скрылись на новой стройке, в морском порту. Но и там на жуликов напоролись. Вообще в Одессе, по словам Николая, заворошка пошла: грузчики и строители супротив хозяев выступают, своих прав добиваются. Пока что в накладе-убытке остаются рабочие...

— Будет и на нашей улице праздник,— сказал Николай с важной ухмылкой.

Мой отец махнул рукой:

— Может, и будет праздник, да нас уже не будет в живых. Нам теперича надо работать.

Сейчас, в страдную пору, когда день год кормит, отец, как я понял, надеялся с Николаем подзаработать хлеба домашним своим. В раннюю непроглядную весну он имел небольшую плотницкую работу в деревне Чубаровке — срубил там амбар арендатору. Арендатор еще тогда обещал ему отдать под косьбу три десятины овса. Отец даже задаток взял. Теперь все это как раз кстати. Отобьют косцы, наточат косы, да и отправятся завтра в Чубаровку.

— Будем ковать железо, пока горячо,— бодрился Николай.

Домочадцы подтверждали: у кормильцев-плотников золотые руки, с ними не помрешь с голоду.

А Чемесов допытывался: чем же закончилась стычка с одесским хозяйчиком?

Николай молчал.

Отец за него распинался. Дескать, из-за жалобы хозяйчика властям пришлось плотникам деру давать: залезли они ночью в товарный вагон, да так «зайцами», без гроша в кармане, и прикатили до дому.

Долго еще разглагольствовал мой отец. А Чемесов, сокрушаясь о неудачах земляков, утешал их надеждами на косовицу в Чубаровке. Потом суматошный, подвыпивший песельник подскочил к Николаю, толкнул его, растянул гармонь:

— Пляши, голытьба. Пой, гармонь! .. Духом не падай, но и себя в обиду не давай. Где малец? Вставай, пацан, встречай батьку! Пляши!

Тут кинулся Чемесов ко мне, затормошил с разбегу, загремел на басах, сунул мне в рот конфету.

— Пляши вот так!

Эх вы, пташки,
Канашки,
Соловьи,
Разменяйте вы бумажки
Мои!
А бумажечки — все новенькие,
Двадцатипятирублевенькие!

— Перебирай чечетку ногами! Руки в боки! Жарь!

А я не двигаюсь, стою как остолоп.

Николай подталкивает меня кулаком в бок:

— Пляши, враже, як пан каже!

Осмелев, я начинаю перебирать ногами под рев гармони.

— Стоп! — вскрикнул вдруг отец, остановил меня, цепкими пальцами впился в мои плечи. — Никогда... Слышь, сынок? Никогда не пляши под чужую дудку! — проговорил он, и глаза его заблестели.

## 6. ЧЕМЕСОВА ЮНОСТЬ И ЛЮБОВЬ

Чемесов всегда ходил, опираясь на суковатую палку. Слыл он «беспечальным весельчаком», и вся голытьба, как он говорил, его любила. А «костоглоты» — помещики, конечно, ненавидели. Чемесов, как все это

слышно было от него же, происходил из крепостных «митрославских» крестьян села Песочного. Родословная его брала начало, по выражению дядьки Андрея, «в темном прошлом». В последний год крепостного права, то есть в шестидесятый год девятнадцатого столетия, владелец, помещик Чемесовых, Дундуков-Изъединов приказывал своим челядинцам всех крестьянских мальчишек ловить и пороть нещадно розгами. Ему необходимо это было будто бы «для успокоения нервов».

На реке Свопе в ту пору сорванец Чемесов полуголым, голодным и босым мальчишкой пропадал, скрываясь от помещичьих глаз. Пленил его зеленый шум трехсотлетних плакучих берез, могучих дубов и заветных лип над рекой. По весне слушал он заливные соловьиные песни в цветущей, белоснежной, душистой черемухе, ловил в Свопе рыбу самодельной удочкой, а осенью пек краденную по ночам с соседских мужицких огородов картошку. Отец — крепостной бондарь Ерофей — пристроил мальца к сельскому дьячку батрачонком, чтоб дьячок обучал его грамоте.

И вот, у дьячка мальчик случайно пристрастился к заехавшему в Песочное из Курска ярмарочному балагану. За такое самовольство владелец-помещик, словив и прокляв батрачонка, отправил его вместе с балаганщиками в Курск и прикрепил малыша-«оглоеда» к сапожной мастерской.

Вот с той-то поры и прозябал Чемесов — сапожный подмастерье — в Курске, пока не обнаружились у него повадки насмешника-скомороха.

А тут вышла «воля».

У юного Чемесова к этому времени живчиком уже переливалась силушка по жилушкам. И он сбежал к бродячим актерам, приспособился к ярмарочному театру, заделался скоморохом.

И засвистали веселые комедианты по градам и весям соловьиного края!

...Через год-другой скоморох-песенник Чемесов, кочуя по украинским ярмаркам, очутился в Полтаве, влюбился там по уши в красавицу гимназистку Марусю Звягину. Гимназисточка эта, оказывается, наезжала в

Полтаву к своей тетке — только в учебные месяцы — из Курской деревенской глуши. Тогда она оканчивала полтавскую женскую гимназию.

Влюбленный Чемесов писал ей и отсылал по почте стихи-песни. И не скрывал своей любви ни от кого. Пел о ней в своих стихах. Все считали, что он эти стихи крадет, списывает из чужих книг.

И Звягина, понятно, отвергла его любовь с презрением, потому что она была дочь богача-помещика, а он — нищий мужичишко. Да и к тому ж Марусю Звягину только что увлек киевский студент украинец Дорошенко, потомок гетмана Украины. И у них вскорости отпраздновалась пышная свадьба.

Отец Звягиной — курский помещик-коннозаводчик — выделил дочери целое имение в украинском селе Троебортном. Но все же дочка любила вотчину свою — Турку, где и отдыхала летом вместе с мужем. Да вскоре она развелась с ним, уехала в Петербург и там, говорят, сошлась с другим.

Но Чемесов не впадал в тоску. Любил теперь только свои стихи, а скоморошество — актерство — возненавидел еще с Полтавы. Знатоки, положим, утверждали: Чемесов после Полтавы, болтаясь в Курске, водил знакомство с людьми «запретными», не один раз попадался в руки полиции за сочинение сеющих смуту песенек, как-то выкручивался, но в конце концов вынужден был покинуть родной ему Курск. И очутился вот в нашей глуши. Но только ли зори дивные и песни соловьиные привлекли его сюда? Нет! Влекла его в Турку неумирающая любовь.

## 7. ЛЕБЕДИ И СОКОЛ

Про необычайную судьбу и жизнь песенника, газетчика и скомороха рассказал мне дядька Андрей. Судьба Чемесова меня потрясла. Но я осознавал ее все же смутно. Она представлялась мне сказкой про соколов и лебедей.

...Казалось, что я уже оставил свою грешную оболочку и вылетел «ангелочком» в какую-то трубу, вы-

рвался к звездам. И еще казалось, мчусь я вслед за лебедями в безмерном каком-то пространстве, навстречу неугасающему дню. Судьба-лиходейка уже не страшна. Но все же где-то в звездных провалах она меня подкараулила, сбила с полета, и я очутился на своем соломенном тюфяке в курной избушке...

Пришла из дальней деревни Нижней Всегощи бабушка Васса, сгорбленная старуха, и учит меня мудреным «правилам добра». От нее же я узнаю, что Юрчик выздоровел и работает с Пчелкой в поле, а Митчик умер и уже отнесен на кладбище. Тятенька Иван Родионыч с Николаем плотничают в соседней Чубаровке. А в Турке, в панском саду, другие плотники рубят и распиливают дубовый лес, строят новую церковь. Эту стройку затеял землевладелец-повытчик, отставной «мировой посредник», старик Звягин, затеял потому, что дочка его Марья, как знал я уже от дядьки Андрея, обвенчалась с каким-то диким потомком украинского гетмана Дорошенко, а потом его бросила, спуталась с питерским студентом, на этот раз студент ее бросил, и доля Марьи загубилась. И еще сказала Васса, что сын Звягина, горный инженер, пьянствует с шахтерами на Донце, улещивает барышень, а детей от этих барышень присылают из разных городов «опекунские советы» к старику Звягину на кормежку. И так как от этого старику один срам, то, чтоб очиститься от грехов, он и затеял строительство божьего храма. Другой помещик, поляк Домбровский — сосед Звягина, владелец плава, всех садов-парков и сожженных водочного завода и каменной мельницы, уступил в главном своем парке место под новую церковь из-за того, что в страховке ему на завод и мельницу отказали (не поджигай злоумышленно!), а все имение пана поляка, по залоговой, теперь отбирает по суду старый владелец, купец Золотарев. И, значит, Домбровский вылетает «в трубу». Так вот, чтоб избавиться от «трубы», пан и пообещал раздарить мужикам запольную землю, а дубы уступил под стройку «единоверческой» церкви.

Из Курска вместе с Чемесовым приехал живописец Шукрин. Он расписывал иконостас в новой церкви и рисовал картину страшного суда над Золотаревым.

Старая церковушка развалилась, а новая еще не выстроена. Домочадцы старого попа и нового, панская челядь не ведают, кто же теперь хозяин в имении: Домбровский или Золотарев? И поповские и сумароковские дочки от тоски пьянствуют.

— Приходит конец панам и попам! — так заканчивала свой рассказ бабушка Васса.

Но меня интересовало другое. Почему умер Митчик? И зачем его отнесли на кладбище? И что с моими приятелями-сверстниками — Романом Лыськом и Петькой Кудадой? Без них мне, ох-х, скучно!

Бабушка машет рукой безнадежно:

— Все друзья-приятели до черного дня. Не надейся ты на них... А что такое черный день? Это когда тебя открыто одурачивают, заушают, бьют под микитки, секут розгами по плечам. Тогда солнце и становится черным... Но есть же люди, которые ничего этого не испытывают: начальники-повытчики, хозяева-богачи, песельники-залихватчики, они знай себе пьют водочку, закусывают ветчиной, конфетами и пляшут под гармонь. Радостники!..

Бабушка осаживает меня:

— Не испытывай судьбу, внучек, это не твоего ума дело. Младость — не в радость. Не перечь горю!

Ага, нельзя испытывать судьбу? Коли так, думаю, пускай бабка посидит тут, в избе, с меньшим моим братишкой, Филиппком, который вон лазит по земляному полу и мусор заметает ладонью, точно веником. А я пойду за радостью. Надоело томиться в полутемной хате.

— Зачем пойдешь? — спрашивает бабушка.

— Принесу из лесу ягод.

— В лесу волки!

— Ну... так и в лес не ходить?

— И не пойдешь. Там баба-яга ловит ребят и топчет их в железной ступе.

— А я спрячусь за ветками.

— Ой, гляди, заблудишься! Не ходи, не ходи один!

Один — не один, а пойду в Юрасов гай. Там, как в раю.

Босой и без шапки, в посконной рубашке с откры-

тым воротом, выскочил я на улицу. Солнце охватило меня со всех сторон животворными лучами. В них утопали и сады и рощи.

Бок о бок со мной завертелся на одной ноге и Роман Лысек. Потом подбегает, посвистывая, Петька Кудада.

Говорю я:

— Идемте в лес, в Юрасов гай за ягодами. Там, как в раю.

— Вали! Гай так гай, — согласились приятели.

И вот мы в гаю, в райском лесу. Нет на щедрой земле ничего прекраснее, чем зеленошумная дубрава, пронизанная жарким солнцем и склоненная над голубым затоном с белыми лилиями. А по луговой кайме — красная, спелая земляника. Мы собираем ее в подолы рубашек целыми горстями. Алое солнце пропекает бока, глушит ароматом цветов. Кидаемся от жары в густую траву. И вдруг: фр! фр-р! — из гнезда вылетает перепелка. Петька тотчас подхватывает яйца — десять штук! — просвечивает на солнце, визжит обалдело:

— Свежие! Яйца!..

С ребячьего пылу, разбивая о зубы, Кудада выпивает яйца одно за другим, все десять штук. Жалко мне перепелку. Но раз Кудада — голодный, что с ним будешь делать? Он и прозвище свое, говорят, получил через то, что как заслышит на соседском дворе крик снесшейся курицы «кук-куда!», так и бежит к ее гнезду, подбирает свежее яйцо и выпивает его. За это как-то раз ошпарила Петьку кипятком хозяйка-соседка. Когда я напоминал об этом случае Петьке, он только облизывался, а потом в забывчивости принимался сосать свой палец, будто соску. Уж это у него от колыбели, детская привычка.

В Юрасовом гае мы, кажется, забыли про все свои невзгоды и воздыхания. Но радость наша была уже не только в солнце, ароматных лесных цветах и душистой землянике, но и в птичьих гнездах. Наперебой обшариваем мы ивовые кусты над берегом, где на густолиственных ветках, сплетенные из сухой травы и опушенные тополевым пухом, ютятся крохотные гнезды-

шки славок. А под корнями кустов, над самой водой, прячутся гнезда длинноносых проворных куликов и суетливых серененьких трясогузок-«плисичек». Рябенькие тепленькие их яички Петька норовит заграбастать, но мы с Романом запрещаем это делать. И чтоб убедить Петьку в нашей правоте, пускаем в ход угрозу:

— Ежели будешь поддирать птичек, Петька, красть ихние яйца, утопим тебя в затоне.

Хорошо знает Кудада, что такое тонуть в затоне, помнит, как он уже раз тонул и спас его дед Корнюха. Но сейчас Петька храбрится:

— Я в огне не сгорю, в воде не утону, я — закоперистый. А яйца люблю только куриные да перепелиные, скусные они, эти яйца. А другие — дермо, нескусные. Ну, воробьиные еще туда-сюда, сойдут, я вот полезу на старую ветлу выдирать воробьиные гнезда в дуплах. Воробьи — воры, сейчас полезу, — хвастается Петька. — Воробьи — жулики!

Я и Роман молчим. Тогда, чтоб убедить нас окончательно, что воробьи — воры и жулики, а не божьи птички, Петька рассказывает сказку, слышанную им, как говорил он, от поповской дочки Раисы.

— Такая, значит, сказка, — почесал Петька за ухом. — Когда Исуса распяли воины в Русалиме, он сразу впал в обморок, но не помер. Иосиф Аримафейский хотел его снять со креста живым. Но налетели со всех сторон жулики воробьишки, закружились над распинальщиками, заверещали: «Жив! жив! жив!» Тогда один воин схватил копье и ударил Исуса в грудь, прямо в сердце. И он сразу помер, испустил дух... Вот чего наделали жулики воробьишки! Поэтому надо разорять ихние гнезда везде и всюду ныне, и присно, и во веки веков!

— Аминь! — заключил Роман. — Лезь на ту вон ветлу, Петька. Выдирай воробьев в дуплах! Так им и надо! Переводи нечисть!

Мне что-то не верилось в Петькину брехливую сказку, но и я поддержал Романов наказ:

— Смелей, Кудада! Раз ты в огне не горишь, в воде не тонешь, лезай!

На узком мысу, встромленном в камышовую заросль

затона, возвышалась древняя, поседелая ветла. Величаво она клонилась всем своим многообхватным, в корявой коре, стволом и огромной четырехкронной серебристолиственной вершиной к середине залива, страстно тянулась навстречу солнцу, держась в обрыве могучими старыми корнями. Где-то в самой сердцевине вершины ворковала горлинка. На сухом суку охорашивались сорокопуты. Над камышом взмывали целыми стаями воробьи и пропадали под ветвями ветлы. Оттуда неслось оглушительное их щебетанье.

Петька с разбегу вскочил на широкогорбый ствол ветлы, вцепился в надтреснутые шишаки коры, вскарабкался до молодых нижних веток, а потом — как засвистит:

— Фью! Я полезу до гнезда горлинки!

Но вот не успел он это прокричать, как молодая ветка, затрещав, переломилась, и Петька, кувыркаясь, нелепо размахивая руками и ногами, с диким визгом полетел вниз и бултыхнулся в омут — прямо в камышовую заросль. Мы не успели и охнуть, как Петька, видимо, захлебнулся там, в волнах.

А из камышовой заросли, шумя саженными изогнутыми крылами, тотчас поднялись три белоснежных черноклювых лебедя. Взвились и исчезли в солнечных лучах. Вслед затем, раздвигая высокий камыш, выскочил на берег, обогнул затон и понесся по лугу меж дубов лопаторогий и горбомордый зверь — лось-сохач.

И вот мы слышим, как Петька заверещал вдруг в камышах (живой, значит!), заскулил шелудивым поросенком. А мы с Романом топчемся у ветлы и не знаем, что делать: самим ли доставать Петьку или бежать на село за взрослыми?

— Бежать скорее домой! — решили мы.

А на лугу уже улюлюкали и гнались за сохатым верхами на лошадях неизвестные ловчие — должно быть, из местных охотников.

Вот она и наша хата, у кряжистых дубов.

...Вверху, взмывая крылами и кружась над могучим стародубом, радостно клекотал красавец сокол.

Он вил себе гнездо на самой вершине дуба.

## 8. МУЖИК НА МУЖИКА ПОШЕЛ...

Перед вечером по всему селу только и было разговоров, что о приезде из города старого хозяина помещичьей усадьбы-парка седобородого старика Золотарева с судебным приставом, о выселении из панских хором помещика Домбровского с дочками Сумарокова. И еще — о подкупе Золотаревым сельского старосты Повалуева, который, получив от купца взятку, отказался принимать от Домбровского дарственную запись для мужиков на запольную землю.

Но все разговоры заканчивались одним — о невиданных досель, всполошенных тремя подростками в Юрасовом гаю на затоне лебедях и о неслыханном в здешних местах звере лосе-сохаче, за которым полдня гонялись верхами на лошадях гонщики, доезжачие, а под конец загнали его в речную трясину и там прикончили.

Говорят, заводилами гонщиков были Чемесов и богомаз Шукрин. На миру Чемесов доказывал, будто сохатый забежал ночью в Юрасов гай из Марьина, лесопарка-заповедника князя Барятинского. Мужики утверждали, что купчина Золотарев не имеет никакого права на лося. Насчет лебедей дядька Андрей растолковал, что они каждый год гнездились в камышовых зарослях затона потаенно с весны; к осени же улетали на Дунай.

Петьку Кудаду, оказывается, вызволили его домашние. Перед тем он выкарабкался из затона по старым камышовым слегам сам, сидел на бережку и сосал палец. Батька притащил его домой и запер в чулан.

Все это мне рассказал Юрчик.

...Чемесов гостил у мужиков-пахарей, обещал всех панов-жуликов и попов-расстриг «разделать под орех» в газете. Поклялся он еще приехать к мужикам в гости зимой, если только извозчик не замерзнет в степи. И тут же, в поле, пропел старую песню про ямщика.

— Какая ж эта песня? — спросил я Юрчика.

— А вот слухай, — подтянулся братишка. — Я сразу запомнил ее наизусть.

— Брешешь?
— Слухай. Затягиваю:

Степь да снег в ночи,
Путь пролег лихой.
Умирал ямщик
Во степи глухой

Он глядел на степь
В свой последний час,
А товарищу
Отдавал наказ:

Мне не срок домой,
Путь далек лежит.
Ты, товарищ мой,
Оставайся жить! ..

Под пургу и ночь
Долгий путь пройдешь,
В стороне лесной
Мой очаг найдешь.

Передай привет
Другу батюшке,
Поясной поклон
Родной матушке...

Молодой жене
В ночь прощальную
Возврати кольцо
Обручальное.

— А что это такое — ямщик? — спрашиваю я.

— Это и есть извозчик, — отвечает Юрчик. — Голь! А в пургу голь, да еще в степи, замерзает, коченеет.

— Значит, и мы окоченеем зимой? Особливо я?

— Да ты вот и летом чуть не издох. А Митчика я с неделю ужо, как оттащил на погост. Без снегу застыл Митька — от сыпняка. Одно слово — голь!

— Не люблю голь...

— А смерть любит голь. Знаешь это?

Знал я это. Два или три раза сам уже обошел смерть. Но отобьюсь ли теперь от зимней стужи? Зиму ждут лютую. А у нас — ни теплой хаты, ни зипунов, ни шуб, ни обуви.

— Боишься зимы? — журит меня Юрчик.

— А мы ее одолеем, — решаю я. — Будем ловить воробьев под стрехой и жарить на сковороде. Накормимся!

— Гляди, березовой кашей тебя накормят, — пугает Юрчик.

«Березовая каша» — это, как я хорошо знал, — розги из гибких березовых веток. Меня этой кашей угощали часто. Да и не только меня. Измученная вечной работой, нехваткой и нашими выходками, мать держала нас в ежовых рукавицах, вымещала на детях свою душевную боль, порола и сама слезами заливалась. Отец работал в соседней деревне день и ночь, одному прокормить пять ртов — не шутка. Но он приходил домой с буханками хлеба очень редко, на короткий срок. И когда, усталый и молчаливый, узнавал он про наши провинности и проказы, схватывал каждого из нас за шиворот и забрасывал на печку:

— С глаз моих долой! И не пикать! Сидеть!

Сидим мы на печке и не пикаем.

Отца боялись пуще матери. Но отец и мать всегда заняты были работой за стенами хаты и не находили времени, чтоб долго возиться с нами и держать нас, как они говорили, «под глазом». Мы быстро разбегались кто куда. Дебоширили и ходили на головах. Особенно отличался я. «Управы на тебя нет!» — вздыхала мать.

И вот вышел от нее приказ Юрчику: заковать меня в железные лошадиные путы и никуда из хаты не пускать. Бабушка Васса устала от моих постоянных шалостей и ушла к себе во Всегощу. Дядька Андрей и тетка Аксинья не хотели меня даже видеть и пускать в свою хату, да к тому ж они и работали в поле.

Молча прикрепил Юрчик мою ногу к скамейке и поспешил уйти: надо стеречь за околицей Пчелку.

— Подожди, Юрчик! — скулю я. — Расскажи что-нибудь!

Но Юрчик стремглав выбежал из хаты. А я остался прикованным к скамье.

Потянулась горькая пора одиночества и темноты. Я принимался реветь, но никто не слыхал моего плача.

Тогда я надумал расковать ногу. Не вышло. Железные путы замкнуты были наглухо. И, не помня как, я заснул.

Проснулся за полночь. С улицы врывался в окно шум, беспрерывный грохот железных лопат, смешанный с утробным криком и гвалтом мужиков, с ружейной пальбой, визгом.

Оказалось: боговутовцы копали ров у выгона, потом поднялись на залогинцев стеной из-за какого-то «распаса».

Вот так побоище!

Это мне передал, трясясь у окна, Юрчик. У нас в хате не было лампы.

Вдруг в дверь ворвалась растрепанная тетушка Прасковья, боговутовская моя пестунья. Наша маменька охает:

— Вот несчастье-то! Заболела тетушка Прасковья.

А тетушка обезумела, мечется по хате, кричит в темноте:

— Озверели люди! Мужик на мужика пошел! Сжигают друг друга, убивают! Дайте света! Что-о? Лампы нету? .. Да я тогда пальцы свои зажгу!

И, выхватив из кармана кацавейки пузырек с керосином, она облила кисть левой руки керосином и хотела было запалить ее, но матушка вырвала у нее спичечный коробок, а ее уложила на койку и начала увещевать.

Перед рассветом тетушка угомонилась, а через неделю от тоски померла. Жизнь доконала!

## 9. ДИКИЙ БАРИН ВЛАСИК

Под осень лазурное небо в чернолесье, в краю холмистых хлебных полей, старых парков с голубыми озерами и дремучих багряных рощ, отливало хрустальным светом. Алмазные звезды над зубцами тополевых вершин можно было разглядеть даже днем. А над курными избами — вековые червленые березы, дубы, ясени и клены, каштаны и липы, подернутые прозрачной дымкой, возносили могучие свои вершины-башни и шпили ветвей, прорезая ими небо, будто знаменами,

так что благословенная эта пора золотой осени чудилась подвенечным нарядом земли.

И в пору увядания торжествовала жизнь. Потому что корнями и семенем растений она накопляла соки земли и горячий свет солнца. Под величавыми купами деревьев дышала бессмертная красота жизни. И там, где оставалась живой природа, оставался живым и человек, все замордованные деревенские люди, а тем паче — подростки.

Гришка Титочкин пришел с повинной к нам в хату, притащил целую пазуху орехов и лесовых лежалых груш. И сказал:

— От барина Власика всем нам, залогинским мальцам, гостинец, чтобы мы не разгоняли из-под кустов куропаток и рябчиков. Барин Власик где только не был — и за границей, и в Крыму, и за Кубанью. И говорит, что краше нашего места нигде нет на свете! Он помнит, когда от самого Севска до Рыльска по бокам шляха тянулся сплошь дремучий лес. Потом по низам лес рубили, жгли на спиртовом заводе. Да на холмах оставлялись дубравы — березовые, липовые, кленовые рощи. Меж ними насаждались сады, разводились парки. Воздуху — не надышешься!.. Оттого, поди, вон и дед Корнюха и дядька ваш хромоногий прожили по сто лет!

Гляжу я на Гришку с восхищеньем, слушаю его и думаю: «Живи, голь! Вот что значит наш теплынный, лесиный дух! И ежели Митчик и тетка Прасковья померли, так те ж дубы шумят над ихними могилами. Красота!..»

А через несколько дней стряслась беда: Гришка приказал долго жить — сыпняк погубил мальчонку. Я даже не знал, когда его относили на кладбище. Эх, Гришка, Гришка, вот тебе и воздух и дубравы. Не сумел ты обхитрить смерть, не спасло тебя от погибели и багряно-золотое буйство осенних лесных красот.

Мою же хворь как рукой сняло. А все — через лесную радость.

Да, не было у меня в младенчестве большей радости, как утром, пробудясь от сна-сказки, подскочить

к солнечному окну хаты и приветствовать веселое пиршество дубов:

— Здравствуйте, богатыри мои!

А они клубились вершинами по южному склону горы, поднимаясь бесчисленными уступами от самого плава-озера до полуденного неба, до солнца. И маячила на горе, окруженная пирамидальными тополями дача-усадьба Власа Гавриловича Мецова — «Власика». Про него я знал из рассказов старших.

Все утверждали в один голос:

— Чудак дикий барин!

Но из тех же рассказов было известно, что землю запольную у Власика отбили помещики-соседи, или ее у него совсем не было: хозяйство его разорилось; дача-усадьба настолько обветшала, что от дождя и от стужи в ней нельзя было укрыться. И в таких случаях дикий барин с хозяйкой своей, старухой Марьей Николаевной, ютились где-то в садовом шалаше. И снедь себе готовили в полевом котелке, подвешенном на треножнике над костром. Две-три картошки, выкопанные на соседнем огороде, цибуля, вырванная из гряды там же, горстка соли, общипанная, выпотрошенная и обсмаленная куропатка, добытая Власиком с утра на охоте, — вот и вся еда. Но хозяева, приготовив ее над костром, делились ею со всеми рыскающими тут голодными карапузами. Благодать, да и вся недолга!

По душе пришлась мне кличка «дикий». Как бывало завижу издали Власика, схоронюсь в закоулок и кричу оттуда, надрываясь: «Дикий барин! .. Дикий барин!» И смешно мне, что он сердито по сторонам оглядывается, озорника ищет. Потом все-таки разузнал, что это я упражняюсь. И когда по утрам проходил он с ружьем мимо нашей хаты на охоту, всегда грозил мне пальцем в окно.

Проказы мои привели к тому, что меня перестали пускать из хаты, — в сад ли, в Юрасов ли гай, а того больше — к дикому барину в шалаш. Меня то и дело приковывали за ногу железными путами к скамейке. И все ж я ухитрялся разомкнуть путы, пробирался за огородники, в багряные рощи, собирал там дикие лесовые груши, копал на первом попавшемся огороде кар-

тошку и пек ее в «присоке» — в раскаленной золе костра.

Но однажды разнеслась по селу молва, будто где-то в трущобном лесу, в урочище Катагарки, остановился бродячий цыганский табор, собирает падаль, ловит по задворкам безнадзорных детишек, варит из них в котле мыло. Помогает же будто бы им в этом и снабжает их мыловарным порошком-каустиком дикий барин Власик. А потом порознь душегубы продают такое мыло на ярмарках. Таких страшных небылиц наговорили про этих цыган, что домашние мои хотя этому и не верили, а все же взяли меня под неусыпный надзор: не отпускали от хаты ни на шаг.

Влас Гаврилович Мецов не помнил, по его словам, своих родителей. Знал, что они были крепостными у помещика-самодура Боговута: отец — поваром, а мать — прачкой.

Однажды Боговут пригласил в гости помещиков-соседей и затравил на их глазах борзыми в заусадебном леске матерого зайца-русака, позвал повара Гаврилу и грозно приказал:

— Нашпигуй косого. И сделай так, чтобы гости пальчики облизали! .. Сделаешь? Не подведешь, каналья? ..

— Не извольте, барин, беспокоиться! .. Прошпигуем да изготовим за первый сорт!

— То-то! Смотри у меня! ..

На барской кухне после этого Гаврилин помощник поваренок Семка освежевал зайца. Шкурку-мех он вывесил на шесток, для ветровой просушки. За это получил от повара крепкую затрещину: ночью-де мех зайца могут украсть собаки! И только было этот самый повар, расположившись на полу кухни, принялся зайчишку нашпиговывать сверх меры кусками белорозового малороссийского сала, луком, чесноком и перцем, как в кухню ворвался, хрюкая, громадный свирепый хряк барский Хока. Дико взвизгнув, схватил он клыкастой своей пастью заячье мясо и тут же с жадностью его проглотил.

Смертельно побледнел повар. И с досады, а боль-

ше от страха перед барским гневом избил поленом Семку: получай, разиня, за то, что не уследил за Хокой-воришкой.

Долго размышлял Гаврило, заливаясь горючими слезами, как же выйти из дурацкого положения, как спастись? Знал повар: Боговут засечет до полусмерти.

Выручил неожиданно все тот же недобиток — поваренок Семка.

— А нельзя ли нам, Гаврий Егорыч, задубасить сейчас да нашпиговать кота Барбоску? И преподнесть его, подлеца, зажаренного к господскому столу?

— Дельная мыслишка!.. — хлопнул вдруг Семку ладонью по лбу Гаврило. — Молодчага, сообразил!..

— А за што били меня, Гаврий Егорыч?..

— Молчи! Тащи сюды Барбоску!.. Голова, Семка! Выручил! Больше не буду тебя бить.

Тотчас же Семка поймал на дворе кота и задубасил. Гаврило, обезглавив пушистого жирного Барбоску, сняв с него шкуру, нашпиговал наподобие зайца и отменно зажарил. А затем торжественно вручил изысканное блюдо лакею Боговута. И тот, в белых перчатках и во фраке, с шиком преподнес жаркое к столу хозяина. Гости и сам старик с аппетитом уплетали «зайца» и дивились, до чего же вкусное и ароматное мясо у этого подлеца русака!

Гаврило, хоть и обещал больше не бить Семку, а все ж нет-нет, да и хватит его чем попало по голове. Горяч был на руку повар. Терпел Семка, но грозился пожаловаться на повара самому барину.

— А ты думаешь, он поверит тебе? — издевался над Семкой Гаврило. — Как бы не так!

И вот раз, после очередной трепки, Семка, захватив с собой давно припасенный сверток с головой кота Барбоса, подбежал как чумовой к Боговуту, кинул на террасу сверток и закричал:

— Не вели, барин-гроза, казнить, вели миловать!

— Что такое?.. — вытаращил глаза Боговут.

— А то, что намедни вы скушали не зайца, а кота Барбоску... Вот его голова.

Боговута сразу скорежило. Хватаясь за стол и едва держась на ногах, он глухо забормотал:

— Брешешь, сучий сын... Клевету возводишь на Гаврилу! Сказню тебя, щенка!..

— Расспросите его сами, — все как есть подтвердит. А ежели моя клевета — сказните меня на месте! А голова кошачья — вот она! Опять же молю-умоляю: не велите казнить, велите миловать!..

...Допрос Гаврилы с применением хорошо разогретого железа продолжался недолго. Повар простосердечно сознался в том, что накормил господ не зайцем, а шелудивым котом.

Боговут так и ахнул.

И когда связанного Гаврилу отвели на конюшню, опрокинули оголенного на дыбу и всыпали ему сто горячих, он потерял сознание. Отлили его потом холодной водой.

А Боговут прохрипел тут еще:

— Поддержись, Гаврюха!.. У тебя, обормот, слыхал я, родился на днях сыночек? Закрутись сам, сгинь, пропади! А молодая жинка твоя Марфушка ужо откормит своим молоком борзого моего щенка... Тоже на днях ощенился...

Закрутился ли после того Гаврило — неизвестно. Но, как утверждают старики — земляки Власа Гаврилыча Мецова, в одну из следующих за поркой ночей заполыхала барская усадьба Боговута.

А Гаврило, мечась вокруг пожарища, кричал исступленно:

— Ловите барина-изверга! В огонь его, в огонь! Затем и поджег усадьбу!.. В огонь!..

Гаврилу тут же схватили и бросили в подвал.

А через день в сгоревшую усадьбу нагрянул военный суд и приговорил поджигателя к расстрелу. Солдаты, приставив осужденного к стенке, дали по нему залп...

Молодую жену Гаврилы — мать новорожденного Власика — самодур помещик все же принудил кормить грудью борзого щенка. Земляки тогда же прозвали несчастную Марфушку «Собакеевной». Она, не перенеся позора, повесилась.

...Обо всем этом узнал я от дядьки Андрея.

## 10. СКАЗКА И БЫЛЬ О ЗИМЕ

Прошла, отгорела золотым листопадом осень. Тихие малиновые зори сменялись холодными ветрами и низкими тучелетами.

Прощай, лето красное! ..

Люто возмечтал я о школе. Но у нас в деревне в те времена, как я уже говорил, школой еще не обзавелись. Гораздо позже, уже почти взрослым, работая в городе плотником, я начал учиться грамоте сперва по вывескам, а потом уже по букварю.

Помню, выла непогода, надвинулась с вьюгами зима. Наша хата скрылась под снеговым покровом, точно под гробовой крышей. Запомнил я эту новую зиму на всю жизнь...

Новой она для меня была потому, что других зим до того времени я не знал, ничего о них не помнил. И когда разговор заходил бывало о зиме, мне представлялось, что это — волшебница с белыми солнечными крыльями, что прилетает она из далеких ледяных стран. Засыпает землю снегами и зажигает их брильянтовым огнем, украшает деревья хрусталями, и звенят они, наполняются солнечным золотом... А потом, навстречу зиме, пробудясь от спячки, протягивают свои могучие ветви-руки дубы, березы и клены в белых шапках, устремляются к солнцу с восторженными улыбками.

Мне так мнилось...

Но это было совсем не так. Мы задыхались в копотной избе всю зиму. И даже не видали солнца, потому что осенью в единственное окно сек беспрерывный дождик, а зимой стекла запушены были толстым слоем инея и льда.

Юрчик и Степка, в громадных лаптях-ошметках и рваных зипунах, изредка отваживались выходить с лопатой и перевяслами на замерзший плав за сухим камышом. А я и Филиппок завидовали им: не было у нас ни лаптей, ни зипунов. И никакая волшебница зима не могла вызволить нас из беды. Мы дрожали от стужи...

После каждой топки нас валил с ног угар. Мы ва-

лялись, как чурбаны, под лавками на камышовой трухе. В угаре, в приступах рвоты и лютого колотья в висках и затылке, я застывал, затвердевал камнем и впадал в забытье.

И только наутро, открыв глаза и ощупав разломанную болью голову, обнаруживал я, что жив. Но надвигался день, и опять давали знать себя стужа и копотная изба. Мы влезали на печку в прах разбитыми.

На святках и на новый год ходили по хатам колядовщики и «засевальщики». Это были парнишки в отцовских шапках и зипунах и мальцы в маткиных платках и кацавейках. Они вваливались в избу табуном. Сеяли горстями из карманов овес по хате, а сами орали хором:

Сею, сею
Засеваю,
Что дадите,
То сховаю!

Я маленький хлопчик —
Зернышко на столчик!
В дудочку играю,
Друга забавляю!
А вы, люди, знайте —
Копеечку дайте;
Когда ваша честь —
Копеечек шесть;
Когда ваша слава —
Дайте кусок сала!
Ходитель я
На Василья!

Ношу пугу
Овсяную,
А другую —
Просяную!

Куда конь хвостом,
Там жито кустом!
Куда коза рогом,
Тамо сено стогом!
Здрасте, хозяева!
С новым годом,
С новым счастьем,
С новым здоровьем!

Тотчас им опускали лепешки-паляницу в сумку. И они с гиканьем и визгом, напуская через открытую настежь дверь тучу холода, выбегали на мороз, к соседней хате. А мы, запечные, провожая их завистливыми взглядами, скребли безнадежно свои затылки; мы тоже могли бы засевать, да нет у нас овса и не в чем выйти на мороз!

Но зато мы знали теперь: куда конь хвостом, там жито кустом; куда коза рогом, там сено стогом. И безнадежность наша сменялась надеждой на радость.

А вечером девичий хоровод распевал за окном в лунном морозно-звездном безмолвии:

Святой вечер,
Ой, добрый вечер! ..

И мы так верили в добро и в звездную святость вечера, что нас не брала тогда стужа и не валил с ног угар.

Заполночь, когда запевали где-то за потолком петухи, ко мне приходил во сне дед-мороз с охапкой тулупов, валенок и шапок. Подмигивал добродушно, поздравлял с новым годом, угощал хрусталями солнечными, и были они слаще леденцов. Надевал он мне на ноги мягкие валенки, закутывал меня в тулуп, согревал мою голову меховой шапкой и... пропадал.

Я просыпался в тревоге... А что такое дед-мороз? Что это за новый год, ежели мы дрожим и зеленеем от хвори, пропадаем в темной, сырой лачуге? Вьюга и холод беснуются вкруг нас непрестанно. И чем дальше, тем лютее. Мать вон при крохотной коптилке, сидя на лавке, прядет с вечера до рассвета посконную пряжу; руки у нее костенеют от холода, глаза слезятся. Но ей все равно не уснуть, надо за ночь напрясть два клубка беспременно — урок!

От отца тоже — ни слуху ни духу. Он, говорят, строит с Николаем где-то в Амони мост под завыванье вьюги. Греться в избе ему некогда, да и нагреешься ли в этой вот курной халупе, занесенной снегом?

Юрчик и Степка опасаются, не упал ли тятенька в прорубь на речке за стройкой моста и не погиб ли,

как недавно на плаву, за подводным ловом рыбы, преставился дед Корнюха? Рыбы дед не наловил, а в прорубь вмерз по самые плечи. Насилу его потом топорами из-подо льда вырубили. И похоронили на погосте.

Также шла молва, будто замерз в степи, на большаке, в ночную метель, утонул в сугробе за Юрасовым гаем неизвестный ямщик. Уж не Чемесова ли с Шукриным подвозил он из города?

Зима наводила на всех жуть. И надо мной бесновалась она теперь не волшебницей с белыми солнечными крыльями, а седоволосой ведьмой.

## 11. ГОЛУБОЙ ЦВЕТОК

Но вот весна поборола зиму. Было это так.

Вбежал как-то перед обедом в хату взбудораженный, легкий, в одной рубашке, вихрастый Юрчик с голубым цветком в руке. И кричит:

— В садку, на солнышке расцвел! Вот он!.. Теплынь!.. А на плаву половодье — страх какое! Плотину снесло.

И ясно было мне: весна пришла к нам, в Турку, из солнечных стран, теплым дыханием растопила снега и разбросала по садам цветы. Седокосмая зима истлела!

Кубарем скатились мы, голопузые, с печи — Степка, я и Филиппок. Прилипли к окну. В глаза нам бил яркий свет солнца, кипенье озерных волн в его лучах. Мы ликовали, прыгали по скамейке.

— Солнышко! Жарит, ажно дым от земли!

Но это был не дым, а голубой пар.

— Вербы зазеленели!

— Ласточки прилетели!

Карабкаясь с поставца, Юрчик потянулся к божнице, прикрепил синенький цветок к иконке, рядом с огарком свечки. Потом замахал руками на нас:

— Тише, голодранцы, кусай вас мухи с комарами! Раз нашли синенький цветок — нам теперь нечего бояться чемера. Заболела голова аль живот — взгляни на цветок тот, и хворь пройдет. Бабка Палага сказала. Вон он, голубенький, на божнице!

Мы притихли. Степка крутнул головой упрямо и пробурчал:

— А бабка Палага — ведьма!

— И то! — подтвердил я.

Филиппок пропищал тоненьким голоском:

— А я не боюсь ведьмов!

— Раскудахтались! — хмурился Юрчик. — Будто что понимают! Цветок то не ведьмовский, оттого я и положил его под божницу.

Тут мы все согласились с Юрчиком: раз под божницей, впрямь цветок радостный, солнечный. Никакая хворь перед ним не устоит.

А Юрчик продолжал:

— Ведьмов нету, а есть прозорливцы. Дак вот прозорливец Алидор с Глинска поведал: скрывается где-сь великой человек. От него загудёт скоро вся земля. Церкви развалются. На панов и попов падет страшный суд.

— Брешет твой прозорливец! — сказал Степка.

— Странница сама от него слыхала, — пояснил Юрчик. — Живет она сейчас у бабки Палаги. И цветок отыскать и под божницу положить от хвори велела она... А ты помалкивай, заноза Стёп!

Закрутил опять головой Степка и забормотал в ответ:

— Брешет странница про цветочки...

Но в это время в хату вошла маменька — затоpопелая, озабоченная. В руках держала она свежевыпеченный хлебец — румяную паляницу, похожую на голубя.

Мы бросились навстречу матери с криком:

— У нас цветок есть! Голубой!..

— Никакой цветочек вас не накормит. Откушайте вот жавороночка, — проговорила она, разламывая паляницу и награждая каждого из нас душистым ломтем свежего хлеба. — Мы с теткой Аксиньей вместе его пекли... Так встречают весну добрые люди, чтоб резвились все, как жаворонки, чтоб цвели, как цветочки...

Съев свой паек, я заявил храбро:

— А я не хочу резвиться. Лучше убегу в Юрасов гай... за цветочками.

— Видал хворостину? — одернула меня мать. — Я тебе убегу! Ты что ж, опять своевольничать? Отец работает день и ночь, а вы тут баклуши будете бить? Не-ет!.. С нонешнего дня ты, Тимонка, будешь глядеть за Филиппком... Из хаты — ни на шаг. Степка завтра пойдет в работнички к Шугуренку... Юрка — к дядьке Андрею... А у меня — работа в поле... Нонче ж сидите тут тише воды, ниже травы.

— А я хочу — громче воды, выше травы! — храбрился я.

Мать на ходу оттрепала меня за ухо и, схватив из-под койки кучу изношенного тряпья, пральник, понеслась почти бегом из хаты к озеру. Она там каждодневно стирала на берегу, на гладком камне, и колотила пральником всякое тряпье, свое и чужое, за мелкую плату. Это я видел и знал уже с год. Сейчас же мне стало матушку очень жалко, как никогда. И я молчал. Юрчик и Степчик тоже сопели молча. Им весна принесла не радость, а ярмо: с завтрашнего дня придется батрачить, терять силы у чужих, строгих людей — ни за что, ни про что...

В молчании и прошел остаток дня. Но вечером, когда у меня — от угара ли или от чего другого — разболелась голова, я попробовал взглянуть глазком на голубой Юрчиков цветочек под божницей. Но в темноте ровно ничего не увидел.

Выходит, что и Юрчик, и бабка Палага, и неизвестная странница насчет цветка все-таки брехали...

## 12. ГРОЗА В ЦВЕТУ

Весна буйствовала и солнечным всеозаряющим светом, и внезапным цветеньем садов, и зеленым прибоем рощ.

Обрадованные, сидим мы — Филиппок и я — на пороге хаты. Греемся на солнышке. А шагнуть через порог в мир, навстречу белорозовой вьюге цветущих садов, не осмеливаемся. Все наши домашние старшие — от отца с маменькой да Юрчика со Степчиком — ушли на работу. Отец перед тем пообещал «от-

вернуть голову» нам, коли вздумаем мы своевольничать и колобродить зря по садам...

Я начинаю понемножку подвывать, наподобие собаки Шарика, когда ее бьют.

Но вершины дерев-великанов кивают мне сочувственно с уступов холма: «Подожди, ночью мы сами пришагаем к тебе, постреленок».

Тогда я замолкаю. Жду ночи и сна как праздника. Филиппок, должно быть, ничего этого не понимает. Он настойчиво лезет на улицу, рвется к плаву. Я его бью кулаком по голове, притаскиваю обратно в хату. Под надоедливое братишкино хныканье в углу хаты, неизвестно как, засыпаю я под кривым столом.

...И вот я у верхушки холма, около разломанной дачи — хатины дикого барина. Надо мной зеленые своды дубовых куп, пронизанных солнцем. И голубые руки-ветви касаются моих плеч, и будто слышу я их голоса:

«Он не усидел. Сам к нам пришел».

«Стоит на ногах крепыш».

«Гроза его не сломит. Он придет на праздник цветенья».

«Он запомнит красу этих куп и расскажет, когда их не будет на свете, о них людям. Затем он и придет на праздник».

Чудится: над голубыми куполами берез, ясеней и кленов склонился величавый зеленошумный стан «дуба-стародуба», как люди его назвали, и, заслоняя их огромным своим стволом в пять обхватов, укрывая вершины их смятенной своей могучей вершиной, простершейся до небес, прогрохотал, точно гром, но в грохоте этом слышались ласка и нежность:

«Понимаешь ли праздник цветенья?»

«Понимаю!» — пропищал я в ответ, хотя и ничего не понимал.

«Обещаешь ли?» — вопрошал дуб громоподобно.

«Обещаю!» — отвечал я, также не зная, в чем смысл этого обещания, но чувствуя, что смысл этот — в любви к земле.

Так подтверждал дуб-великан:

«Люби землю, всю ее красу, цветы, нивы, леса и сады. И помни обо мне!»

От грома у меня звенит в ушах. Я закрываю лицо руками... и просыпаюсь под столом.

В окне хаты — алый утренний свет солнца. Или это молоньи?.. Где-то вдалеке, за крышей хаты, грохочет гром.

Филиппок, будто кот с мышью, возится на столе с вареной картошкой.

— Ты не умеешь думать, а я соображаю! — дразнил он меня: — Машка ушла на полотье. Велела нам никуда не выходить, а то гром убьет! А я пойду на шлях!

— Никуда ты не пойдешь, — говорю я. — Привяжу тебя за ногу веревкой к столу, а сам уйду. Сон был такой мне... Держи ногу... Не рыпайся!

Прячет Филиппок ногу под рубахой, увиливает. Но вот узел уже на его ноге, другим узлом я прикрепляю веревку к подножке стола. Сам же, еще неумытый и заспанный, выбегаю из хаты на улицу. Там — ни души.

За плавом, с правой стороны дубовой рощи, над белыми в сплошном цвету садами, синела вдали и клубилась в столбах пыли грозовая туча. Грохали удары грома. С левой стороны пылало крылатое солнце, еще не скрытое грозой.

Куда идти? Пошел я навстречу грозе, на праздник цветенья.

Когда я, плутая по садам и рощам, добрался до шляха и до кургана, а оттуда взглянул на холмы и долы в цветущих диких грушах, яблонях и черемухе, у меня захватило дух. Опьянел я от аромата белоснежных куп... И впереди по долинам и склонам холмов они маячили, вздымались, убегали на все четыре стороны волнистыми кружевами, до самого небосклона. А там, где собиралась гроза, по темным перелескам, цветущие эти купы курились, будто паникадила.

Долго ли, коротко ли пьянел я от этого праздника цветенья — не помню. Но вдруг вижу, по шляху мчится, звеня колесными кольцами, зеленый фургон на железном ходу. Пара вороных коней в дышле взмылена. Над фургоном — полотняная будка. Из-под будки

высовываются засмаленные черные цыганки, а на передку, правя конями, ерзает и гикает пожилой волосатый цыган в запыленной зеленой шляпе, широченных плисовых шароварах и расписной жилетке с позументами поверх красной рубахи. Завидев меня, он рычит грозно:

— Эге-гей, баранчук! Ты куда ж это в грозу прешься? Башку свою под гром суешь? Шалтай-балтай! .. Из какого села? Подходи сюда! Приблуда? Не бойся. Будешь комедьянтом! Гей, гей, не балдей!

Не успел я опомниться, как цыган, остановив лошадей и соскочив с передка, кинулся за мной и схватил меня.

«Цыгане-мыловары! Пропал я. . .» — мелькнуло у меня в голове. И я заорал благим матом:

— Ой-ей-ей! Ой, кар-ра-вул! Ой, маменька, ой-ей-ей, тятенька! Ой, судьба моя лиходейка! А-аа-а!

Дрыгал я ногами, царапался пальцами. Но бородатый цыган, бормоча что-то в утешенье, закинул меня в фургон, под будку, прямо в объятья гогочущих цыганок, а сам уселся на передок, гикнул.

Кони помчались. А цыганки начали рассматривать меня: заглядывали в глаза, тормошили мои вихры. Носатая цыганка, темная как ночь, с серьгами-лунами в ушах, тряхнула вдруг меня за плечи:

— Чаво обмер?

— У-у-у-у! Ско-ре-ей! Бросайте меня в котел! Варите на мыло! .. — заскулил я.

— Гы-гы. . . в какой котел? — переспросила носатая. — Мыться, что ль?

— В мыловарный! В огненный. . . Враз!

— Гы. . . А для чаво?

— У-у-у-у! Скорей! Бросайте в кипяток-круток.

— Да ты ж, чертенок, не знаешь, в каку комедь тебя, приблуду, хозяин подобрал на шляху?

— Знаю. . .

— Ну, говори!

— Штоб наварить из меня мыла в. . . котле!

— Тьфу ты! — загрохотала носатая. — Может, он умом тронутый?

Полыхнула молния, забабахали раскаты грома,

хлынул ливень. Кони замедлили ход. Цыган-хозяин, укрываясь от ливня, перебрался с передка фургона под будку. Носатая уже пилила его:

— Не было печали, дык черти накачали! Гляди, штоб за этого баранчука не влетело тебе от урядника. Ишь, что болтает: будто из него мы будем варить мыло!

— Хо-хо! — ухмыльнулся хозяин цыган. — Человека с него сделаем, ему на радость и нам не в убыток. Будет плясать под шарманку на подмостках, как заправский комедьянт!

Фургон двигался. Грохотала гроза в цвету...

## 18. АРАПЧОНОК

Заночевали где-то за Ольховкой, за большим дальним селом в лесном, просторном овраге, средь ивовых кустов.

Проснулся я на рассвете и не понимал, где я и что со мною. Но чувствовал, что произошло что-то непоправимое. Ах, да! Я в цыганском логове, у живодеров-мыловаров! Из меня сейчас будут варить мыло в котле над костром...

— Не в котле, а в балагане, на ярмарке, — ехидничает носатая. — Все девки туда улетучились.

Хозяин-цыган, по ее сказке, тоже ушел будто бы к бродячим комедиантам в Ольховку, мастерит с ними там балаган, все будут играть комедь в балагане. И я — тоже. Завтра день Хороброго Егория, в Ольховке — ярмарка.

Носатая, в зеленом облезлом бурнусе, широкоротая и лупоглазая, похожая на жабу, разматывает какой-то клубок, ковыряет иголкой по полотну, натянутому на пяльцы.

— Давай, вставай, пацюк, — говорит она мне. — Девки ушли плясать, а ты собирай хворост. Надо башковитым быть, всех нянек забыть. Таскай дрова на огонь, приблуда!.. Ну! Живо! А то размозжу тебе башку каменюгой!

Мне страшно хотелось спать, Но, чтоб не размоз-

жила носатая мне башку, я спросонья подхватываюсь, скрываюсь за ивовые кусты. Соскребаю пальцами какой-то сухой хворост. Да тут же опять падаю с ног и тотчас засыпаю как убитый.

Так проходит утро...

— Ага, гей, гей, вон он где дрыхнет! — гикает вдруг у самого моего уха цыган-хозяин.

Вскочил я, дивлюсь: рядом с хозяином стоят еще двое мужиков, строгих, не похожих на цыган. Догадываюсь: должно быть, те самые бродячие музыканты-комедианты, с которыми цыган балаган на ярмарке в Ольховке строит.

В одном из спутников узнаю страшно знакомое обличье. Кто же это? Неужели — песельник?!. Чемесов?..

— Узнаешь меня? — допытывается он. — Не робеешь? Барабана не боишься? А балалайки?

Под мышкой у него торчит балалайка.

Я молчу и глазом не моргну. С какой стати спутались они с цыганом-живодером, а теперь пытают меня насчет какой-то балалайки?

А приятель Чемесова наседает уже на хозяина-цыгана:

— Ты нам очков не втирай! Мальчонку мы знаем — он из Турки. А как ты его спер, это не суть важно. Во всем разберемся после. А сейчас сделаем вот что: я его разрисую арапчонком, а цыганку, хозяйку твою, — жабой. Да завтра ж в балагане на ярмарке, под музыку, покажем их публике. Отбою от любопытных не будет. Зашибем деньгу!

Хозяин-цыган недоумевает:

— Коли ты художник-богомаз, как же будешь писать нечисть — арапчонка да жабу? Это — раз. Насчет мальца не стращай — я его спас от грозы. Это — два. Никому не уступлю. Сам буду деньги получать за него. Это — три. Заставлю таскать билеты на розыгрыше фургона и упряжки с парой вороных. В-четвертых...

Чемесов обрывает нетерпеливо:

— Мальчонку ты, цыганская пика, не от грозы спасал, а с умыслом подцепил. Мы его знаем и он нас. Правда?

— Угу! Знаю! — отвечаю я угрюмо.

— Кто ж я? — вопрошает Чемесов.

— Проходимец... песельник!

— Хо-хо! Да ты веселый малый. Ну, а мой товарищ — кто?

— Жулик!

— Эге, да ты и злой. За что ж ты это костишь богомаза-художника, моего приятеля-товарища? А? Какое ты имеешь право?

— Он не захотел страшный суд над Золотарем писать, пожалел купца-шпанку... Подхалюза!

Тут ко мне подскакивает этот самый богомаз, бормочет поспешно:

— Молчать! Не жулик я и не разбойник, а художник. В новой Турской церкви буду писать иконостас. Придет время распишу и страшный суд над Золотарем. А теперь я пока что тебя буду расписывать, держи свою мордашку вот так, голопуз. Глаза под лоб!

Он вынимает из кармана банку с голландской сажей и принимается разрисовывать меня под арапчонка.

А Чемесов смеется:

— Браво, Шукрин! Голь на выдумки хитра! Превращать кошмар в радость, слезы в улыбку — твоя задача. Из грязи в князи! А ты, Тимон, марш за мной! — приказывает Чемесов после того, как богомаз кончил мною заниматься, и тащит за руку к фургону. — Выше голову!.. Сторонись, богачи, беднота гуляет!.. Завтра будем играть в балагане, на ярмарке.

Когда я, весь черный от сажи и взъерошенный, очутился у фургона и носатая цыганка щелкнула меня по затылку в знак одобрения, Чемесов, настроив балалайку, отставил ногу и, пустив глаза под лоб, ударил вдруг по струнам, и услышал я его ядучий сказ:

За седыми мхами, за болотом,
Зеленая жаба пряла пряжу!
Подошел к ней арапчонок:
— С добрым утром, мастерица жаба! —
Отвечает жаба:
— Можно ли здороваться и знаться
С чернокожим мне, природной жабе?
Кто ты? Оборванец? Говори-признайся.

Мне с моим нарядом ты не пара! —
Плюнул арапчонок, усмехнулся:
— Как, жабуга, ты ни наряжайся,
Все равно тебя сотрут колеса!
Зашипела жаба,
Когти отпустила,
Чтобы глаза вырвать
У мальчика-арапчонка.
Но откуда ни возьмись — телега,
Налетела колесом на жабу,
Придавила жабу,
Хребет переломила!
А мальчишка, черный арапчонок,
На задке телеги примостился
И уехал вдаль, навстречу солнцу!

Богомаз хлопает в ладоши. А носачиха лезет с кулаками на сказителя:

— Брехня-комедь! Ты, пустельга, сам жабуга!

— Подвох! — урчит хозяин-цыган.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мне сказ этот глубоко запал в душу, хотя тогда я и не понимал его. Тщетно старался запомнить слова. Такими ли они были тогда, как я сейчас их привожу, или не совсем такими, более складными, не знаю. Но вспомнил я их и записал как мог уже только через пятнадцать лет, когда в какой-то газетке случайно прочитал скорбный некролог «О Курском соловье — поэте-самоучке Чемесове».

## 14. В ОБЛИЧЬЕ СКОМОРОХОВ

Ярмарка в Ольховке бурлила, вздымалась от овражного шляха до церковной площади на холме, шумным людским потоком захлестывала все пустыри, улицы и переулки села. Белые от весеннего цвета яблоневые, грушевые и вишневые приусадебные садики, черемуховые рощи и темнозеленые вековые дубравы у села, хаты с соломенными желтыми крышами — заливало все это оранжевым светом щедрое солнце. С цветом деревьев и светом солнца спорили яркие багрово-цветные дуги повозок, голубые платки и широченные кофты и юбки баб, пестрые чуйки, картузы и колпаки мужи-

ков, розовые шляпы и зонтики молодых заезжих барынек, ковры и позументы на каруселях, размалеванные щиты и полотна на фасаде балагана.

На помосте, перед балаганом, вертела ручку шарманки молодая черноволосая расфуфыренная цыганка. Рядом с нею бил в барабан, крутил головой в бумажном красном колпаке скоморох-зазыватель. Кто же это?..

Тьфу ты, черт! Да это — дикий барин Власик!

— Эй, народ! — кричал он под завыванье шарманки и грохот бубна. — Заворачивай в театр! Плата — пятак!.. Пляска цыганок-ведьмов... Хождение зеленой жабы по канату... Бой арапчонка с гидрою... Розыгрыш пары вороных рысаков с фургоном, на железном ходу... Не зевай, народ, вали в наш огород!..

Фургон хозяина-цыгана, нагруженный таборной рухлядью и свежескошенным сеном, торчал со вздыбленным дышлом и парой вороных костлявых коней-одров тут же, сбоку балагана.

Мужики заглядывали в зубы одрам. Из балаганного окошка, занавешенного брезентовым полотном, напротив фургона, то и дело высовывалась кудлатая забубенная голова хозяина-цыгана.

— Отчаливай от вороных, геть! — рявкал он, потрясая смольной бородой. — Допреж выиграй коней, а тоди гляди им в зубы! Бери билет за рупь-целковый, — глядишь, и клюнет! Даром возьмешь пару вороных рысаков с хургоном!.. А дареным коням, вестимо, в зубы не глядят... Шевелись!

Раздавались мужичьи голоса:

— Да кони, может, краденые? Как же ты запретишь глядеть им в зубы?

— Запрещено! — орал цыган. — Не гляди коню в зубы!..

— Может, тебе самому надо заехать по зубам?

— А вы, лапотники, свои зубы ужо пробрехали! — оскаливал желтые клыки из-под черно-рыжих усов цыган: — И мои рысаки с хургоном вам не по зубам! Геть вид хургона!

— А может, по зубам? Ежели мы желаем твоих

одров-рысаков выиграть за рупь-целковый?! И выиграем!.. Бери по рублю с рыла!

— Дак вы ж за рупь тот повеситесь кажный!

— Ан врешь! Повесишься ты, а не мы. Коли пустил потроха свои в розыгрыш, то на попятный не лезь. И без обмана штоб!.. И жереб тянул штоп кто — ни гу-гу.

— Жарь!— крикнул хозяин напоследок.— Гроши — на бочку! А жереб тянуть будет вон энтот арапчонок! По русскому ён ни бельмеса не понимает! Ребенок-арапчонок!

И хозяин-цыган, под хохот толпы, тыкал своим заскорузлым желтым пальцем в мою сторону.

А я сидел в фургоне на копне свежей травы ни жив ни мертв, вымазанный в саже, оглушенный криками и недвижимый, точно китайский болванчик. Сердце мое колотилось, поджилки тряслись. Казалось, отступилось от меня все светлое в жизни: и оранжевое ярое солнце, и белорозовые сады, и темнозеленые дубравы.

Но вот мужики, теснясь, прихлынули к окошку с занавесками, расхватали у хозяина билеты и скрылись за входной дверью балагана. Тотчас с высокого подмостка прыгнули и нырнули под балаганный щит молодая цыганка-шарманщица, дикий барин Власик. А через короткий промежуток времени хозяин-цыган, выскочив из окошка, стащил меня с фургона и полез со мною под тот же балаганный щит.

В низенькой боковой будке, сколоченной из железок и заваленной мусором, он всунул мне в ладони какую-то бумажку с нарисованной на ней елочкой и прошипел:

— Зажми вот энтот жереб в левой своей ладони крепко-накрепко! Да запомни, заруби на чумазом своем носу: как дадим тебе шапку с пустыми бумажками, да как пойдут к тебе чередой мужики с билетами, дак ты давай им бумажки те пустые, из шапки, правой рукой... А как подойду я — ты мне из левой своей руки вот энту бумажку... с елочкой... жереб будто из шапки ж! Понял, приблуда? Мы выиграем!

Ничего я не понял, но пробормотал робко:

— Выиграем!

— Как же мы выиграем? И чаво выиграем?

— По жеребу хургон.

— То-то! Не всучи, гляди, обормот, мне пустую бумажку. Мужикам их всучивай.

— Ладно!

— Чаво ладно? Мой-то жереб не всучи другому. А то... — цыган не стерпел, заулыбался, — сварю-переварю тебя в котле на мыло. Пшел в сарай!.. Зачинать!

Опять заколотилось у меня сердце и затряслись поджилки. Говорить я уже не мог. Подхватился и стрелою в сарай-балаган. Тут, на дебелых скамьях, расставленных рядами, ерзали с задранными лохматыми головами и шумели мужики, а над их головами по протянутому канату прохаживалась, опираясь на длинный шест, лупатая и клыкастая цыганка хозяйка-носачиха, в зеленых резиновых чулках, зеленых же штанах и полузеленой, разрисованной яблоками шали.

— Гыр-гыр-гыр! — выкрикивала она из-под крыши на мужиков, точь-в-точь как болотная жаба: — Ква-ква-ква! Держись, голова!

А по подмосткам, в переднем углу балагана, гремел барабан дикого барина, завывала шарманка. Под этот оглушительный тарарам кружились в дикой пляске молодые цыганки. И когда хозяйка-канатоходчица, опершись на длинный шест, спрыгнула с каната прямо на подмостки, там поднялась невообразимая кутерьма. Куда-то в боковой проход провалилась шарманка, покатился барабан. Затрещали дощатые перегородки. И в сарае те, кто сидел в передних рядах, подхватившись со скамеек, заметались как на пожаре.

Один только Чемесов не двигался с места и, закатываясь от смеха, кричал с верхней ступеньки лестницы, ведущей на подмостки:

— Это и есть гидра!

Кивок в сторону кутерьмы.

— А это арапчонок!

Кивок в мою сторону.

Я сидел на той же лестнице, на нижней ступеньке, крепко сжимая бумажку-жребий в левой ладони.

— Таким манером арапчонок ведет невидимо бой

с гидрой, — продолжал Чемесов. — И он победит, будьте уверены! Гидра рассыплется!

Из задних рядов раздались зычные крики:

— К черту гидру-выдру!

— Давай хозяина! Не втирай очков!

— Разыгрывай потрохи!

— За обман разнесем балаган!

Тут скоморох дернул вдруг за какую-то веревку, а сам нырнул в боковой проход. Над помостом опустился дерюжный занавес. Из бокового прохода тотчас же выгрузился кудлатый хозяин-цыган в разноцветной безрукавке и плисовых шароварах, с барашковой огромной шапкой, зажатой в руках. Шапку эту он передал мне. А затем рявкнул на весь сарай:

— Зачинаем розыгрыш хургона, двух рысаков и сбруи! Без обмана. У кого рублевый билет — подходи, клади об это место, получай взамен от арапчонка жереб свой. Пустая бумажка — проигрыш. На сто десять рублевых билетов сто девять пустых бумажек. А одна — с нарисованной елкой — это выигрыш. Все! И как я тоже имею билет за рупь-целковый, то участвую в игре без фокусов.

— Знаем! — неслось в ответ из толпы. — Сам у себя норовишь выиграть! Коли так — подойдешь за жеребом в конце, а мы первыми!

— В конце дак в конце! — соглашался хозяин. — Может, и в конце счастье хлыстнет. А вы, бараборы, пододвигайтесь, тяните жереб первыми. Такая уж у меня планида — последним. А может, арапчонок-приблуда, нас кривая и вывезет? .. — воззрился он на меня остервенело.

— Вывезет! ..

Мужики, вытянувшись в очередь, подходили к краю подмостков, выкладывали перед хозяином рублевые билеты.

Натужно зажмурясь, доставал я из шапки пустые бумажки и взамен билетов совал их игрокам в мозолевые руки.

И каждый тут же бросал бумажку и чертыхался.

Но вот один длиннобородый мужик, схватив из моих рук бумажку, вскричал торжествующе:

— Елки-палки, клюнуло! .. Выигрыш мой! .. Законный, безобманный. Я из Шалыгина, звать меня — Кошмет. Урра! ..

И тут только я спохватился и похолодел от ужаса: я отдал из левой ладони бородачу хозяйскую бумажку с елочкой! Пришел мой конец!

А хозяин-цыган, взяв паспорт и бумажку с елочкой у счастливца бородача, заключил угрюмо и бесповоротно:

— Твой хургон, твои рысаки, твоя сбруя... Эх, пропадай моя телега, все четыре колеса! ..

И, вырвав из моих рук шапку с пустыми бумажками, сбил меня сапогом со ступеньки. Потом, рассвирепелый, растолкал толпу и выскочил из сарая.

Толпа устремилась за ним.

## 15. ЦЕНА СРАМА

Когда сарай-балаган опустел, из-за дерюжного занавеса повысунулись растрепанные головы молодых цыганок. Цыганки теперь уже не плясали и не кувыркались на головах, а грозили мне кулаками, шипели:

— Вот кто загубил батю, энтот змейчонок. ..

— Выкопали гаденка из грязи, неча сказать! .. Вымуштровали на свою погибель!

— Ну, теперь-то мы ужо вымотаем из него жилы-кишки, печенку-селезенку!

Я привык сызмальства ко всяким угрозам, но то, что из меня собираются вытягивать жилы и кишки, печенку и селезенку, — о такой пытке я впервые услышал. Кто-то рассказывал, будто змеи сжирают маленьких птичек так: подползет гадюка к ветке, на которой чирикает птичка, разинет зубастую пасть, зырнет огненными глазками, а птичка застынет в жути, да — кувырк в змеиную пасть будто неживая. Змея хрям-хрям. Только птичку и видели...

Хорошо было бы и мне сразу попасть на зубы этим цыганкам-змеям. Но разве эти змеюги вмиг сожрут меня? Они меня, как раба, терзать будут... Хорошо бы обернуться вольной птахой, вспорхнуть и улететь.

Недаром дядька Андрей твердил: будь кем угодно, только не рабом! А что я могу? Рабом я родился, рабом, должно, и подохну.

Пока я так думал, скрючившись в углу сарая и трясясь от жути, а молодые цыганки жгли меня угольно-черными глазами, из бокового прохода вынырнули навеселе дикий барин, Чемесов и Шукрин. За ними увязалась и зеленая цыганка-носачиха с двухсаженным шестом в руках.

Дикий барин орал на нее:

— Я эт-то-го не по-тер-плю! Скушали моих двух зайцев, четыре кряковые утки, с полдесятка вальдшнепов. И я устроил помост с занавесом и я ж лупил набалдашником в барабан. И я ж выкомаривал-скоморошил на вышке, зазывал публику, надрывался. А теперь, извольте радоваться, должен остаться на бобах!.. Не-ет! Я эт-того не допущу! Я в Киеве бывал, в Москве метелки продавал. Я до такого сраму не доходил... Деньги — на бочку!

Чемесов и Шукрин урезонивали Власика:

— Не пропадем! Пошли от сраму!

— Прошу не указывать! — артачился Власик. — Когда-то я сам указывал левой ногой другим! Я сто верст пропру пешком, буду питаться акридами... до губернатора доберусь, а на эту ведьму (кивок в сторону носачихи) найду управу!

А носачиха, опершись на шест, гаркнула:

— Башку размозжу!

— Не по-зво-лю!.. — шумел Власик. — Заплати, ведьма, за мои издержки, за мою работу! Империял на бочку!

— Да чем тебе платить, коли хозяин убежал с деньгами-выручкой! А вон энтот, дьяволенок-арапчонок, проиграл все наши пожитки-потроха. Проваливай подобру-поздорову. Цельную неделю кормила тебя задаром с твоими прихлебателями, провались ты! — надрывалась цыганка.

— Заплати, и провалюсь.

— А какую тебе плату дать, кровопивец?

— Империял! Ну, хоть полуимперьял — цену срама!

— А вот этого рожна не хотел? — взмахнула носачиха шестом. — Зараз башку сковырну шалыгой!

— Шалыга-то — палка о двух концах, — избоченился Власик. — Как вырву ее у тебя, да как вытяну... по твоей спине, тут и душа из тебя вон.

Из-за занавески повыскочили молодые цыганки. Набросились на дикого барина.

Но тут в свалку вмешались Чемесов и Шукрин и в один миг разогнали цыганок. А потом принялись вырывать из рук носачихи неизменную ее шалыгу.

— Отдай полуимперьял — цену срама!

И вдруг хозяйка-цыганка вскричала:

— Караул! Отдам, черт с вами! Улепетывайте, жулики-грабители! Не смей трогать шалыгу!.. Эй, дочки!.. Бегите за урядником, штоб забрал он энтих беспачпортников-баламутов! Подбивают мужиков на бунт! Уж я выведала! В скоморохи рядятся, а сами — супротив власти помысел имеют!

Цыганки-дочки метнулись к выходу.

А хозяйка-цыганка тем временем вытащила из-за пазухи мошну, достала из мошны какую-то монету, сунула ее в боковой карман Власикова пиджака.

— Получай полуперьял-золотой. И марш!

— Вот теперь разошлись, — ухмыльнулся Власик.

— Скатертью дорога! Удирайте, беспачпортники, пока целы!

Тишина... «Баламуты», то есть Чемесов, Шукрин и Власик, попятились было к выходу, но Власик, вертя полученную от хозяйки монету в руках, вдруг обнаружил:

— Обман! Это же не золотой полуимперьял, — это медяк, две копейки. Я этого не потерплю!

Чемесов толкнул его в бок, потянул за рукав к выходу, забубнил на ухо:

— Не шуми, дикий барин, видишь, на крючке висим. Разнюхают про нас и в Сибирь еще упекут. Нырнем в толпу... Да, кстати, захватим вон с собой этого мальца. А то его тут ведьма умучит.

Подхватил меня молча Влас Гаврилович, усадил себе на шею и направился к двери. Шукрин взял под подмостками свой мешок с пожитками. Чемесов зажал

подмышками чемоданчик и балалайку. И все мы вытряхнулись из балагана на ярмарочную площадь, подались далеко за село, чтобы след наш простыл. Заночевали в будке лесника.

## 16. „ОБЕЗЬЯНКА“

Два дня комедианты отлеживались в лесниковой будке: варили в котелке суп без круп из «заячьей капусты», свирепо мечтали о «настоящей», вольной и сытой жизни.

Дикий барин вздыхал и плакался: прощай, милая сердцу дача в Турке, прощайте, столетние дубы, липы, вязы и тополи... Не было Власику больше туда возврата, слыл он там бунтарем, и появись он хоть на денек — не миновать тюрьмы. Куда же теперь подаваться? Единственное утешенье — ружье «центрального боя» — украл у него хозяин-цыган совсем недавно, незадолго перед ярмаркой. Нечем теперь Власику подстрелить селезня на обед. И всего капитала на троих, (а я был четвертый) — две копейки. Надула, околдовала носатая цыганка! Все скоморошьи труды в балагане, с барабанным боем, с хожденьем на головах, с дулейками и балалайками, даже с сопливым арапчонком, — пропали даром. Выдюжим ли?

— Выдюжим! — отозвались в один голос все.

— А как?

— А так: пехом на Москву! — пояснил Шукрин. — Будем продвигаться по селам, играть... Этого черномордого мальца (кивок в мою сторону) обрядим. Он будет с шапкой в руках выклянчивать у баб печеные яйца, хлеб, молоко. А там, глядишь, обменяем у какой-нибудь дуры твой грош на кредитную бумажку. Надо только грош начистить, чтоб сиял, вроде золотого.

— А как ты его обменяешь?

— Я знаю как. Наверняка! — воодушевлялся Шукрин. — Замечу какую-нибудь старуху на дороге, обгоню и подброшу грош. А потом, поравнявшись, крикну: «Ой! Нашел золотой! Чур — вместе». Баба увидит блескучую монетку, затрясется, забормочет:

«Беру золотой, а тебе, путник, так и быть, дам сдачи бумажкой»... Ну, ты, конечно, берешь бумажку — пятерку, скажем, али трешку, — и дралы! Не хитро? Бабы все — неграмотные.

— Неграмотные, неграмотные. Но они знают пословицу: не все то золото, что блестит.

— Все пословицы вспоминаются задним умом. Баба потом спохватится, вспомнит поговорку, да уж будет поздно.

Власик ежился, отмахивался руками:

— Я за это не берусь. Честно ли так будет? Явное жульничество.

— Честно то, что дает тебе прибыль, бесчестно — что приносит убыток, — изворачивался Шукрин. — Тебя надула цыганка, значит, она честна по отношению к себе, а ты по отношению к себе бесчестен. А от клички «жулик» все равно нам не застраховаться. Вон даже эта обезьянка (кивок в мою сторону) облаяла меня жуликом. Значит, слыхала от старших. А мне — начихать. И насчет надутых не беспокойся: им вперед наука.

— А я — беспокоюсь.

— Напрасно. На то и щука в море, чтоб карась не дремал.

— Да я-то, может, сам — карась.

— Ну и дреми. Только я думаю, ни одна щука не польстится на тебя. Ха-ха-ха!..

Спор прекратил Чемесов:

— Заткни фонтан свой, Шукрин. Хватит! Имя мое должно остаться незапятнанным. Жуликов всегда выводил и буду выводить за ушко да на солнышко.

— Но у нас сейчас вся надежда на золотой, — горячился Шукрин. — Нам нечего лопать.

Тут Чемесов отвернулся от Шукрина, достал из чемоданчика какую-то карту, развернул ее и забормотал, как бы сам с собой, что все мосты к легкой жизни, к курским родным местам и благополучным путешествиям у него тоже сожжены. Свирепые хозяева жизни тут, в помещичьих вотчинах, не терпят вольного духа. Теперь надо держать путь не на Москву, где ничьим слезам не верят, а куда-нибудь на юг — в Малороссию,

или в Новороссию, или в Бессарабию — вот где настоящая вольница! Вот где изобилье!

— На Украину! — подхватил Власик. — На Киев! На Днепро! Только вот с мальцом как быть?

Шукрин достал из вещевого мешка карандаши, шнурок, какую-то юбочку, накинул на мои плечи, подвязал шнурком, подмалевал мне щеки, губы, нос, провел по будке взад и вперед и произнес заносчиво:

— Вот она, мордашка! Не отличить от настоящей обезьянки. Это, заметьте, номер! Жратву во всяком случае через мальца добудем.

Чемесов насмешливо спросил:

— Это — в отместку за то, что он обозвал тебя жуликом? .. Эх ты, богомаз!

— Да ведь пузо набить нам надо ж?

— А ты выдумай что-нибудь другое.

— Нет, ты выдумай, колоброд!

— Нет, ты, жмот!

В таких стычках, спорах и разговорах прошло двое голодных суток. На рассвете третьего дня мы, после короткого сна, перебрались в каком-то лесочке через речку Клевень — границу Украины — да и зашагали в город Глухов.

На пути лежало большое село Есмань.

Сады в цвету, вишневые, яблоневые, грушевые и сливовые — первая и последняя радость весны, белостенные хаты, колодезные журавли — все это вставало из-за рощ в солнечном мареве, встречало бродяг-путников радостным приветом. И сердца их отвечали на привет молчаливым благоговейным вздохом: благодать!

Но стоило путникам войти в село и показаться на пыльной улице, как на них тотчас же набрасывались собаки, улюлюкали ребятишки. И вся благодать весны вмиг исчезала. Яблоневый цвет, казалось, осыпается, солнце тускнеет в седом мареве. Путники, устало шагая, стирали рукавами с загорелых своих лиц грязный пот и не обращали ни на кого внимания.

— Облызьяна! .. — кричали неугомонные ребятишки, бомбардируя меня комками сухой глины. — Кто попадет в облызьяну шибком, буде сам дыньком! Гавкни, мартышка!

— Гав, гав! .. — отвечал я хрипло, обозленный тем, что веревка, которой я был привязан за шею к чемоданчику Чемесова, мешает обороняться от ребят. — Га-а-у-у! Жулики хохляты! ..

Ребята запускали в меня новые пригоршни комков, собаки чуть не рвали за ляжки. Чемесов почему-то и не думал заступаться за меня — шагал молча и невозмутимо, точно идол. Власик и Шукрин следовали его примеру. А ребятишки наседали скопом.

— Дядька, дадите нам зверушку свою? — визжали они. — Стравим мартышку кобелями зараз! Сгинь, нечисть, сказись! .. Пропади! ..

— Сами сгиньте, ироды! — не вытерпев, закричал я на ребятишек. — Безмозглые вы! Я же — человек!

Затравленный, онемелый, свернулся я в комок, затянул веревку на шее и, задыхаясь, ударился о землю. Но тут нагнулся надо мной Чемесов, снял веревку с шеи, забормотал озабоченно:

— Ты чего, Тимон? .. Подымайся, да молчи.

— Чёмер со мной... Умираю.

— Врешь, не умрешь. Эй, люди, сюда!

Тут меня окружили Власик и Шукрин, какие-то молодухи в разноцветных паневах начали отпаивать молоком, пичкать галушками. И я отдышался.

Чемесов на радостях ударил по струнам балалайки. Шукрин, бросив вещевой мешок, пустился с чернявой молодухой откалывать гопака:

Гоп, мои гречаники,
Гоп, мои белы! ..
Молол батько не веявши,
Пекла матка не сеявши!

— Пляши, арапчик! — кричал Власик, притопывая сапогом и подбоченясь. — Не распускай соплей! Терпи, арапчик, атаманом будешь!

А ребятишки пищали:

— Не, ты хрестись, облызьяна! Не пляши, а хрестись!

В самый разгар веселья к Чемесову подошел с палкой в руке и медалью-бляхой на груди то ли староста, то ли сотский из стана и потребовал предъявить «па-

пиру», то есть, должно быть, паспорт. Гопак сразу отгремел. И так как у друзей отродясь не водилось паспортов, то мы немедля выбрались из села — на киевский, как говорили, большак. Шукрин с диким барином — впереди, Чемесов со мной — позади.

Видят тут Шукрин с Власиком: перед ними по большаку, под тенью старых придорожных берез, топает помаленьку древняя, сгорбленная старуха с котомкой за плечами. Держит, должно, путь на Киев. Шукрин, пошептавшись с Власиком, передает ему свой вещевой мешок, а сам отчаливает под березы, спешит по тропинке за старухой, обгоняет ее. Потом, поравнявшись опять с ней, кричит громко:

— Ай, золотой! Чур, бабка, вместе!

Бабка останавливается, снимает котомку с плеч и шамкает обрадованно:

— Господи, Исусе! .. Вижу, золотой, вижу! .. Коли вместе, дак вместе! И не спорю!

— Тут семь рублев с полтиной — полуимперьял! — обхаживает бабку Шукрин. — Приходится почти по четыре рубля на нос. Сдача у тебя, бабка, есть? Бери золотой.

Бабка разводит руками, охает:

— Ой, касатик, четырех рублев не наберется. Одна трешка — вся моя жисть в ней.

— Ладно. Бери золотой, давай трешку!

Оба бьют по рукам, один получает трешку, другая — монету, после чего бабка, обратясь к востоку, кладет поклон, крестится и бормочет:

— Не радуйся нашедши, не тужи потерявши.

И вдруг я опознаю эту сгорбленную, изборожденную морщинами седую старуху. Дрожа от радости, вскрикиваю:

— Бабушка! Бабушка! Это я... Возьми меня с собой!

Она взглянула на измазанные сажей мое лицо, руки, ноги, на обезьяню мою юбочку и, отшатнувшись, напялила на свои плечи дорожную котомку, молча устремилась мелкими шажками вперед.

Я готов был кричать во весь голос, биться головой о землю. Как же это так — бабушка не узнала меня?!

Должно быть, подумала, что окликнул ее бесенок, да и подальше от дьявольского наваждения. Но, может, сердится она за то, что меня украли цыгане?

— Ты чего это за бабкой увязывался? — спросил Чемесов.

— Да это ж моя родная бабушка!

— Мать твоей матери, что ль? Не врешь?

— Угу. Она, видать, рассердилась за то, что меня украли цыгане.

— Значит, взаправду, они тебя украли?

— Угу.

— Эй, Шукрин! — окликнул Чемесов богомаза. — Нагрел бабку? Не стыдно? А ведь ее внук-то и есть этот Тимон. Верни старуху, отдай ей трешку.

— Черт ее не возьмет! — махнул рукой Шукрин. — Малец — ей обуза, оттого она и не признала его. Дома ему все равно жрать нечего, и никому он там не нужен. А нам он сослужит хорошую службу.

— Да ты что — с ума спятил? — с гневом воскликнул Чемесов.

Шукрин кинулся за сочувствием к дикому барину. А тот:

— Жулик ты, богомаз! И все мы не те люди, какими быть должны. За голь душой болеем, и ее же — голь горемычную — надуваем! Уйдем от сраму куда глаза глядят.

И тут видим: по шляху, тарахтя колесами, догоняя нас, катится зеленый фургон, запряженный парой вороных. Ясно: это розыгрышный фургон хозяина цыгана, только его самого тут нет, да и цыганок тоже. На передке трясется длиннобородый Кошмет — новый обладатель ярмарочного выигрыша.

Чемесов выбежал на середину шляха и, потрясая балалайкой над головою, остановил фургон (благо, пара вороных коней-одров, не кормленных с самой ярмарки, едва волокли ноги и тяжелое дышло гнуло им исхудалые шеи почти до земли).

О том, что вороные голодают и им нужен овес, чтобы не издохнуть в дороге, рассказал сам Кошмет: он три дня сражался с хозяйкой-цыганкой из-за выигрыша и дал взятку уряднику за сочувственное вмеша-

тельство в спор. И после того как выяснилось, что цыган действительно проиграл коней с фургоном, а сам исчез бесследно, дело было улажено. Теперь Кошмет едет домой в Шалыгино — село за Глинском.

— Так ты, значит, будешь ехать через Глинск? — спросил Чемесов.

— Не через, а сбок.

— Довези мальчонку с его бабкой. Тимон-малец вот он, а бабка — вон она, плетется впереди по шляху. Того и гляди умрет в дороге. А в Глинске — бабкина дочка, мать Тимона... Мальца-то уволок цыган. Теперь Тимон с нами. Но он так измаялся, что даже родная бабка его не узнала. А ежели ты, Кошмет, подвезешь их до родных, хорошее дело сделаешь.

— Рад душой, да кони-то, почитай, подохнут в дороге поскорее той бабки. Если их не подкормить зараз овсом, то коням — капут, — отвечал Кошмет. — Все свои гроши просадил я через ведьму-цыганку на угощенье свидетелей и на взятку уряднику. И теперь не знаю, что делать! А до Шалыгина сорок верст. Без овса не обойтись.

— Сколько тебе нужно на овес?

— Да не мене двух рублев.

— Ладно, получишь три, — объявил Чемесов.

Он властным жестом подозвал всех нас к себе, потребовал бабкины три рубля от Шукрина. Шукрин повиновался. Чемесов передал деньги Кошмету, а меня, подхватив подмышки, усадил в фургон и заключил безоговорочно:

— Повезло тебе, Тимон, как в сказке. Не робь... Крепкое из тебя выйдет изделие. Помни одно: чем труднее в детстве, тем легче в зрелой жизни. Прощай!

— Прощай, дяденька! — едва успел я пролепетать.

Фургон грохоча двинулся. Кони под гиканье Кошмета затрусили рысцой.

Через некоторое время Кошмет, догнав бабку Вассу, усадил ее рядом со мной и погнал коней дальше. Бабушка, хотя и признала во мне родного внука, но за всю дорогу ни разу ни о чем не спросила, только гладила меня старческой, костлявой рукой по грязной голове да время от времени стирала мокрой от ее обиль-

ных слез тряпицей сажу с моей кожи, выдубленной ветрами.

Ссадив нас, Кошмет без остановки покатил дальше, в Шалыгино. За всю дорогу он не покормил своих вороных одров не только овсом, но даже простой луговой травой. Плакали, значит, Чемесовы, вернее — бабушкины денежки!

И выходило в конечном счете, что всех несчастных за нос провел и всех жуликов обжулил длиннобородый мужик Кошмет!..

На другой день, перед возвращением в Турку, бабушка подхватилась на рассвете с дощатых нар, провозгласила крестясь:

— Ну, родные мои, собирайтесь в путь... а я побегу, поставлю перед владычицей свечку за своего благодетеля. Он уступил мне за трешку целый золотой... полуимперьял. Я дала обет поставить за него свечку.

— Золотой — это к счастью, — отвечали ей. — Исполни обет!

Спросонья я еще не мог догадаться, о каком золотом идет речь. Но через некоторый промежуток времени бабушка возвратилась разгневанной и потрясенной, швырнула новенькую двухкопеечную медяшку на пол и глухо запричитала:

— Обманул, окаянный... За трешку вместо золотого медный грош всучил!..

## 17. ЗМЕИ И СОСНЫ

Собираясь домой, мы вышли на рассвете под своды ослепительных сосновых вершин, гораздо более прекрасных и высоких, чем неподвижные облака. Эти вершины освещены были первыми лучами солнца. Огромные же, пятиобхватные стволы самих сосен оставались еще в тени.

Казалось, в небе плывут яркозеленые, с прозолотью, купы-вершины. Но над купами-облаками кружились и клекотали аисты. В кружеве вершинных ветвей теснились чуть заметными точками их гнезда. И это убеждало, что все-таки там, вверху, несказанно

прекрасные вершины древних сосен. А синие весенние ветры пели в этих вершинах свой торжествующий гимн заре, свой утренний хорал.

Проходя через сказочный этот лес, дошли мы до реки Обсты. Бабушка, протягивая мне красный платочек и розовый кусок мыла, потребовала, чтобы я, пока путешественницы будут искать тут грибы, искупался в речке и отмыл всю свою грязь-сажу.

И вот, убаюканный певучим протяжным звоном сосен, спускаюсь я с крутого берега реки на песчаный откос и... замираю в ужасе: путь мне преградили три громадные змеи.

Я не двигался с места, не шевелился.

А сосны звенели протяжно и самозабвенно.

И змеи, прислушиваясь к этому звону, свернулись в кольца и, греясь на горячем песке, закрыли свои зрачки в сладкой дреме.

Я перевел дыхание.

После того как змеи, извиваясь, расползлись в разные стороны, я вышел из оцепенения и услышал голос матушки:

— Ты что стоишь остолопом?

— Козюли повстречались... — бормотал я, взбираясь на обрыв. — Они... уползли... не тронули меня!

И бабушка, которая всегда и во всем обязательно видела «перст божий» или действие каких-то неведомых светлых сил, сказала:

— Это тебя спасли светлые силы... Древние сосны запели хвалу этим силам, и лютые змеи присмирели. Слава те, осподи!

Не успела бабка перекреститься, как налетел на вершины сосен сильный ветер, зашумел протяжно, надрывно. Всклубились облака. Вдали прогрохотал гром.

Тетушка Аксинья, всплеснув руками, потребовала от бабушки решительно:

— Стоп! Дайте передышку. Гром гремит неспроста.

— Какую передышку? — не сразу сообразила бабка.

— Ясно-понятно! Сейчас мы должны идти не до дому, а до Киева! — твердила тетка Аксинья. — Чудо

спасло мальчонку от гадюк. Дак неужели мы за это не отблагодарим тезку малыша? А я знаю, тезка тот лежит, преподобный, в Киевских пещерах. Нам поэтому надо идти туда, чтоб поклониться да отблагодарить тезку.

— А ты, Аксинья, твердо это знаешь?

— Знаю. Была во граде Киеве. В пещерах! ..

Вздохнула бабушка Васса, еще раз перекрестилась, да и скомандовала всем нам:

— Идем на Киев! .. В дороге хлебушко дадут добрые люди.

И мы, повернувшись к западу, тотчас пошли на Киев.

Гром погромыхивал все протяжнее и раскатистей. Надвигалась гроза.

## 18. ГДЕ ЖЕ СЧАСТЬЕ?

В Киеве — жилье моего тезки, которого я, дите разнесчастное, должен возблагодарить самолично за двукратное свое спасение от гибели.

Беспокоюсь я:

— А кто ж нас туда доведет?

— Язык. Язык доведет, — улыбнулась бабушка.

И впрямь довел язык. Стоило только перед первым встречным заикнуться про Киев, он, простирая руку вперед, на юго-запад, проговорил с величайшей охотой:

— Так держите! Дорога прямая как кнутом хлыстнуть. Геть! .. Допреж — Петропавлов, а там — Кородевец. А Нежин можно миновать, взять правее... глядишь, по хуторам, по селам, вот тебе и Киев. Топайте! ..

Три знойных майских дня тянулось наше босоногое «топанье» — путешествие. Я от усталости едва передвигал ногами. Но так как все это занимательное хождение предпринималось из-за моих злоключений, я не роптал. Меня только клонило часто ко сну.

Спали мы под звездами, под открытым небом, где-нибудь у лесного костра, — от вечерней летней зари до зари утренней, — а весь долгий день шагали. И все-таки, какой радостью наполняли сердца солнечное цве-

тение подсолнухов, красных, белых и розово-фиолетовых маков на хуторах, вишневые сады вкруг белых хат, буйно-зеленые луга у рек, темносиние леса и перелески, вся благодать полей благословенной, радужной Украины! Белоснежный блеск расцветшей гречихи простирался бескрайным морем до горизонта, одурманивал голову сладким медовым запахом. Это придавало мне силы.

На третий день, ввечеру, выходя из-за сумрачного леса, видим: вот он, сказочный Днепр-река, вон он, на высоких холмах, за Днепром, древний город Киев, с бесчисленными огнями на площадях и улицах, с горящим дивным отсветом в темноте крестом Владимира на самой высокой горке. Такой красоты я никогда еще не видал.

Бабушка говорит строго:

— Дивен свет во граде его! А все ж там — беси. Зри, дитятко, научайся бодрствовать средь бесей. Потому светом-градом овладели беси-баре. Завтра увидишь, а покамест ложись тут, на бережку, спи. Утро вечера мудренее.

Тотчас же я повалился на разостланную по песку кацавейку. Устал смертельно. И я еще не понял хорошенько: явь ли этот светящийся, будто осыпанный звездами Киев или сон?

Проснулся я на рассвете. Горячие лучи восходящего солнца на стройных, величественных зданиях города, на крутых зеленых горах, синяя гладь реки, похожей на море, чудесная, живая красота природы — все это так меня очаровало, что я, глазея на невиданный мир, все еще не верил: неужели это настоящая явь?

Через всю ширину Днепра перекинулись величавые мосты. По ним бежали поезда. А внизу, под мостами, проплывали красавцы пароходы, скользили яхты с белыми парусами, утлые лодки. Откуда-то с открытых нагорных садов лились звуки музыки, а может, это был звон колоколов?

— Ты что молчишь? Очумел? — дернула меня за рукав маменька. — Вставай, тебе говорят!

По широкому цепному мосту перешли мы через Днепр. И опять красота, кипучая жизнь великого го-

рода захватили меня. Пыльные, обожженные солнцем, босоногие, брели мы по широким площадям и улицам, одетым в гранит, украшенным цветниками, обсаженным акациями, каштанами и тополями. Поднимались мы вверх, а навстречу нам текли оживленные толпы разряженных людей. Я подумал: «Вот они, должно быть, те самые беси, что бабушка упреждала...» А спросить не решался.

С грохотом и звоном выехал из-за угла перекрестной улицы трамвай, и я чуть было под него не угодил. Тут все три мои спутницы-пестуньи, схватив меня за руки, потащили поспешно прямо на «дальние пещеры». Там, в темных этих пещерах, ползая в полумраке, падали мы ниц и взывали:

— Храни в жизни нас!

Бабка Васса урчала на меня:

— Вот твой тезка-хранитель... целуй его!.. Благодари!..

Поцеловать я тезку в черном саване не поцеловал, но за выпяченную ногу его в мягком чулке дернул: кость-костью! И говорю:

— Скушно тут, баб, с тезками-хранителями!.. Пойдем лучше... к бесям!

А ограждающий входы в пещеру произнес зычно:

— Остерегайтесь воров!.. Берегите карманы!.. Жертву передавайте мне, на мощи не кладите, обчищают жулики.

Откуда-то, из глубины пещеры, доносился женский истошный голос:

— Батюшки!.. Задуши-ли-и!.. Спасайся кто может!..

Толпа изможденных паломников, с зажженными свечами, хлынула к выходу. А в толпе — и мы. Нас вынесли на кулаках на свежий воздух.

Бабка Васса крестилась, шамкала благодарственно:

— Слава тебе, создатель мой!.. Сподобил еси!.. Теперь бы попасть только в Успеньев собор, да и помереть.

Успеньев собор сиял вдали золотыми крестами. Из-за собора вытягивалась, высясь острым шпилем-главой, знаменитая колокольня монастыря. Меня она

только и удивляла. Я не мог понять, как люди могли строить эту высоченную колокольню — таскать кирпичи, железо и крест под самые облака?

Бабушка «разъяснила». Колокольню, по преданию, строили двенадцать братьев-праведников, и по мере того как ее строили, она входила в землю, так что ни кирпичей, ни железа, ни главы с крестом не требовалось тащить наверх... А когда стройка тут, на самой подножной земле, кончилась, братья-строители неожиданно заснули. Проснулись, глядь, а колокольня вышла из-под земли! Высится во всей своей красе над градом Киевом, сияет золотым крестом под облаками. Возрадовались братья-праведники чуду. Тут и умерли они. И похоронены были в пещере. А через сорок лет открылись их мощи. Чудо!

— Нет! Все эти праведники — бедняки и оборванцы! — выпаливаю вдруг я. — Не хочу я быть оборванцем!

Никто меня не перебивал. Все молчали.

В тот же день потащились мы в обратный путь. И понял я: младенчество, вернее, раннее детство мое кончилось. Я — взрослый! Что же я и где же буду строить на этой самой подножной земле? Где же оно то счастье, о котором помянула как-то тетушка Аксинья, та птица редкая, что людям ловить надобно?

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

# ПРОЗРЕНИЕ

## 1. ВЕРХОМ НА КОНЬКЕ-ГОРБУНКЕ

Дома у нас, в селе Турке, разор!..

Грозила мне дядькина беспощадная порка «за бегство от телят». Оказывается, в мое отсутствие телята соседские, задрав хвосты, вторглись в огород помещицы Фатеихи и были забраны сторожем. За телячью потраву хозяева-мужики уплатили Фатеихе денежный штраф. И теперь дядька Андрей обещал мне «отвинтить башку к чертовой матери». Правда, голову он не отвинтил, но, зажав ее меж кривых ног, бил нещадно меня суковатым костылем.

Вот тебе и взрослый я! Опять побои... Они преследуют меня с младенческих лет. Где же ты, человечья радость, где же ты, жизнь вольная?.. Иль так и помру я в горьких слезах, ни разу не вздохнув глубоко

грудью, ни разу не расправив крылья под лучами солнца?

Меня «отлили» наговорной водой. Провалялся я, больной, на грязной соломе с неделю. Хозяева-соседи еще ранее наняли другого телятника — того же Петьку Кудаду. Страсти улеглись.

Но вскоре новая беда стряслась. Братишка Филиппок с сестренкой Пашей ушли из отчей халупы в соседнюю деревню Борщевку, где их и подобрали сердобольные старушки. Об этом поведала бабка Палага. И вот матушка моя с теткой Аксиньей метнулись в Борщевку и привели оттуда Филиппка с Пашей.

С горя дядька Андрей пил беспробудно сивуху и ругался, ругался и пил. У него приключилось что-то вроде белой горячки. Тетка Аксинья плакала горько, собиралась уходить «куда глаза глядят». Мы все убивались о ней и со стоном упрашивали не добивать нас, несчастных горемык, своим уходом. И она не ушла, самоотверженно ухаживала за всеми нами, разбитыми жизнью.

...Цвела весна. Я томился, помню, в углу хибарки, в землянке-клетушке вместе с теленком, привязанным у окна. Кто-то постучал в слюдяное оконце, смеясь:

— Хочешь покататься верхом на солнце?

Гляжу — отец.

Выбегаю из землянки. Солнце — огонь!

— Уже весна?!

— Весна. Конец зиме!

Зима держала меня, старая карга, в норе: изредка только выбегал я, босой, покататься по льду на речке, в мороз...

И вдруг — огненный конь в золотой гриве!

Да и совсем это не конь, а жар-птица. Над белой волной садов в цвету она качается, точно привязанная на шесте. Грозит сорваться на огненных крыльях и все сжечь. Пригрелся я на солнышке: нет, не сожжет! Его можно достать — стоит только взобраться на горку.

На горке солнце от меня убегало...

...За березовым лесом — пашня.

— Садись-ка лучше на стрижака! Боронить будешь, — сурово сказал отец.

И взгромоздил меня на всамделишного лошаку-стрижака, запряженного в борону.

У березовой зеленой рощи, на старом поле, куда впервые привели меня на работу, отец мой, — пожилой батрак, — старается, засевает хозяйский загон зерном. Потом ведет борозду за старым конем по засеянной полосе. А вслед за отцом и я, верхом на годовалом стрижаке по прозванию Конек-горбунок, бороню железной бороной пашню. Держусь крепко за колючую, подстриженную гриву дикого лошака обеими руками. В зубах у меня поводья, правлю не шевелясь. Не ровен час вспугнешь необъезженного Конька-горбунка, а он подхватится на дыбы и рванет. Тогда все пропало!

По бороздам важно расхаживают грачи. Нечаянно я на них загляделся. Отец кричит строго:

— Не лови ворон! Гляди в оба! Мне надо на другое поле спешить. Ты тут сам будешь боронить. Увидим, выйдет ли из тебя толк.

Отец уходит вместе с конем, запряженным в плуг, на другое поле. Я остаюсь один. Грачи нахально подлетают к лошаковой морде, кружатся над вихрастой головой моей.

Замахиваюсь я поводком на них и чуть было не сваливаюсь под острые зубья-клецы бороны. Зацепись посконная рубаха за клец — и все кишки мои размотал бы дикий лошак по полю. Но Конек-горбунок стоит будто вкопанный. Молча вытираю я рукавом кровь, что течет из разбитого носа, а сам показываю грачам кулак:

— У-у-у, долбоносые! .. Башку снесу!

...Так начинается трудовое утро вихрастого паренька-хлеборобчика. Вот он хватается уже за гриву лошака опять, вскарабкивается на него, босоногий и жилистый. Боронит хозяйский загон бесстрашно, как будто ничего не случилось. Так до самого вечера. А вечером переворачивает борону клецами-зубьями вверх, возвращается домой, в курный шалаш-избу. На пороге отец встречает деловым вопросом:

— Весь загон заборонил?

— А то как же! — важно отвечает хлопчик. — Вчистую! Знай наших!

— Ну, стало быть, из тебя толк выйдет. В том и судьба твоя.

На другой день — другой загон хозяина.

За садом, за березовой зеленой рощей целая ватага мужиков с жилистыми конякамн, с плугами и боронами, будто цыгане в таборе. Сеют ярь.

Сеет и отец.

А я в страхе бороню вслед, верхом уже на старой коняке. Впился как клещ в ее гриву. Нечаянно заглядываюсь на аистов-черногузов. Они у борозд расхаживают важно. И, заглядясь, кувыркаюсь головой вниз.

— Сверзился-таки, шило? Это тебе не за солнцем гоняться да баклуши бить... Подхватывайся! Живо!.. Садись на коня!

Заупрямился я тут:

— Не сяду! Ногу сломал...

— Без разговоров! Будь как коняка. Тяни ярмо!

— Хай она сдохнет, эта старая коняка! Не хочу! Подхватился и что было духу бегом от отца. Снова за солнцем.

— Постой! Эй! Куда?!

Тут уже за мной погнались доброхоты хлеборобы скопом. Отец, рассерженный не на шутку, ждал меня где-то в лесу.

Ловили до вечера. Я искал защиты у солнца. Но солнце спряталось за тучи. Доброхоты все-таки меня словили. Подвело солнышко!

## 2. ДЯДЬКА ПЕТРО

Сев мужики кончили к вечеру. Я — дома.

— Ну что, проехался на солнце? — раздается насмешливый голос из-за стола.

Черноволосый дядька Петро, брат моей матери, пришел неизвестно откуда к нам ночевать.

— Хорош конь-солнце? — донимает он меня.

— Вовсе оно не конь, а жар-птица! — храбрюсь я,

а сам корчусь от обиды. — Завтра поймаю... от вас от всех удеру!

Хотел было я еще раз похвастаться: «Никого не боюсь! Взрослый я уже!» — но промолчал. А про то, что в поле и сегодня, как вчера, с коня сверзился, вовсе ни гу-гу.

— Постой, а что это у тебя на рукаве кровь? — допытывается отец. — Дрался с кем, что ль?

— Буду я драться... Никогда!..

Шмыгаю носом, соображаю несколько мгновений, а потом выпаливаю:

— Это я одному черногузу башку снес! Путался под ногами.

— Как так путался? Червяков, жаб, козюль, знать, выискивал?

— А то как же?

— Ну хорошо, что аист, а не ворон, — говорит отец.

А дядька Петро добавляет раздумчиво:

— Аист ли, ворон ли, а убивать этих птиц нельзя. Обязательно отомстят за них ихние родичи. Избу спалить могут или что. Птицы вещие. Так что тебе, Тим, надо подальше отсюда теперь.

Признаюсь невпопад:

— А я, может, не сам аиста убивал. А его свои же родичи заклевали.

— Ладно! — говорит дядька. — Не горюй. Через год мы уедем с тобой на Кавказ. Я вот затем и пришел поговорить с отцом.

Отец горестно вздыхает:

— Трудно на свете безземельному мужику-батраку с детворой. Паши чужую пашню, а жрать нечего. И то сказать — один с сошкой, а семеро с ложкой. Сам я уехал бы на Кавказ или хоть на край света. Да на кого их оставить? Надо тянуть лямку, кормить. Все сидят на моем хребте.

— Вот ты и отдай мне Тимона в сподручные, — говорит дядька. — В люди выведу, судьбу-долю ему найду...

Ловлю я отцовы и дядькины слова, мотаю себе на ус. Оказывается, жить на свете не так-то легко.

Сам я хоть и не убивал никакого воронья, но не прочь улепетнуть от здешних мест куда-нибудь подальше, чтоб избавиться от тяжкой работы и не сидеть на отцовском хребте. Лопочу задорно:

— Айда на Кавказ! .. Ух, ты!

— Замолчи! — сердито бросает отец. — Успеешь.

Дядька и отец хлебают тюрю из деревянной полурасколотой миски. Колдует, завораживает отца завлекательными словами дядька — мужик с черными клочками волос у кадыка вместо бороды, с глазами навыкате: ни дать ни взять черный жук.

— Сложили, дураки, песню про погибельный Кавказ, — бормочет он насмешливо. — Не погибельный, а спасительный он. Пуп земли! Долины вечно в хлебных злаках, в лозах виноградных, в дивных цветах. Горы всю жизнь в снегах. А на самой макушке горы Зельбруса, в ледяном тресветлом дворце, проживает хозяин всего сущего. Творит суд над злодеями-богатеями. Защиту шлет труженикам-добролюбам. Оттого они и живут там, поди, до ста, до полутораста лет. А плотников на Кавказе — раз-два и обчелся.

— До полутораста лет? — удивляется отец. — И всегда есть у них хлеб? Хватает?

— До самой смерти хватает! — подтверждает дядька. — Да что — хлеб! Барашков жареных едят там с рисом, а сладкими винами запивают.

И тут же дядька протягивает ладонь:

— По рукам, Иван Родивоныч? Отдаешь Тимона в сподручные?

— По рукам! — хлопает отец ладонь в ладонь. — Дело! Бери мальца, доводи до хлеба. В своей стране не пропадем.

Слышу все это я будто сквозь сон и соображаю: умчусь с дядькой Петром, другом закадычным, на Кавказ от вещего воронья, от вечного голода-холода, буду есть жареных барашков, сладкий виноград... Проживу сто лет, а потом еще полтораста, отыщу свою судьбу-долю... Хлеб! Вот из-за чего бьются люди!

В дреме мерещится мне столбовая дорога посреди

крутых гор. Я то спотыкаюсь об острые камни, падаю, то подхватываюсь, вскакиваю на солнечного дикого коня, хватаюсь за огненную гриву, лечу на Кавказ, а может, и на край света...

— Хорошо бы улететь на крыльях на край света!— бормочу я невнятно.

У каганка — отец, в слегка подстриженной окладистой бороде с проседью и в зачесанной набок посеребренной скобке, чествует дядьку тюрей. Со мной строг и нежен. Но на всякий случай, чтоб не налопотал я лишнего, отправляет меня на печку к братишкам.

Братишки замерли на печке, не дышат. А я, засыпая, вскакиваю на солнце, хватаюсь за его огненную гриву, мчусь на Кавказ...

Но... прошел год, другой — никаких перемен!

## 3. ПОЕДИНОК

Как-то дядька Петро зашел озабоченный, развел руками. На Кавказ надо ехать на чугунке-машине, а грошей на билет кот наплакал. И взаймы никто не дает. А на своих на двоих разве доберешься?!

— Но не робь, малый, — утешал меня дядька. — Жди. Подработаем грошей, обязательно укатим на Кавказ. Заруби себе это.

— А сколько надоть? — опечаленный, спросил я.

— Чего?

— Да грошей? Я, может, сам достану... добуду... подзаработаю... Рыбы наловлю, продам попу...

— Тю на тебя! Какой ты добытчик? Карбованцев, почитай, с двадцать требуется... Нишкни! Мы с отцом сами это обмозгуем. Помогай ему пока тут в работе. А я потом дам знать. Иди!

— Не хочу ждать! Хочу ехать зараз!

— Ишь, какой ты неугомонный...

...Стояло жаркое лето — время, когда в великой страде изнемогает мужицкий люд. И чтоб облегчить тяжкий свой труд, все работают семьями, «толоками» с другими артелями, скопом. Так — из года в год, спокон веков. А я, мальчишка, работал в это лето в поле

почти один на отлете, — разве только с отцом или с дядькой Петром. Весь околоток знал, каких бед натворил я в страшном своем одиночестве: наворовал яблок из-за глупого озорства, из желания отличиться перед старшими, разбил стекла в хате Стёпчихи, разорил чей-то улей... Да мало ли! От стыда я не осмеливался показываться на глаза старикам землякам, старался работать на отлете, отдельно от людей. Отец и дядька это понимали, щадили мою раненую душу, пытались найти мне облегченье. Собственно, отсюда-то и зародился план бегства на Кавказ.

А соседи-злопыхатели не унимались, улюлюкали:

— Улю-лю! А-га-га! Буян! Ворюга! Вот он!

Дядька Петро как-то укрыл меня на просяном загоне попа Ивана, затерянном средь приречного лозняка. Сунул мне серп в руки, сказал:

— С попом-батей договорился: даст взаймы двадцать карбованцев, а за проценты мы должны сжать вот это его просо. Тут на тебя некому улюлюкать. Вот тебе урок: до вечера сжать весь этот загон. Старайся. Глядишь, попик и подкинет грошей на дорогу.

Никто не видел, как я старался. Резал под корень высокое, спелое попово просо, вязал пучки в снопы, снашивал снопы в крестцы. Пот катился с моего веснушчатого курносого лица мелкими бусинками. А я все налегал на работу, все кряхтел, надрывался. К полудню почти весь загон сжал.

...Раздался вдруг из-за лозняка свирепый басовитый голос:

— Да-а... Вот это заковыка!.. Удружил Петро! Я думал, загон мой убирает сам он. А что вижу? Орудует на загоне моем сатанёнок. Откуда навязался ты на мою голову? А? Кто позволил? И за такое оскорбление я еще должен давать взаймы двадцать карбованцев! Тьфу! Тьфу! Чур! Чур!

— Двадцать карбованцев... — подхватил я радостно. — Да это ж на дорогу! На Кавказ!

Оглянулся: передо мной — седобородый, в балахоне-рясе, в широкополой шляпе поп Иван, с длинным посохом, — гроза и гонитель всех мальцов с первых же детских их лет. У меня заколотилось сердце.

— Батя, заступись!

А по щекам катятся слезы, перемешанные с бусинками пота.

— Что-о-о-о?

— Батюшка, отец Иван! За что ж на меня такая казнь-мука? Я ж ни в чем не виноват!

— Что тебе надо? — гудит поп Иван.

— Двадцать карбованцев! На дорогу... На Кавказ!.. Житья мне тут нету! Я тебе, батя, еще три загона сожну. Дай живота, а не смерти!

— Прочь с глаз!.. — взревел поп не своим голосом. — Вон! Не потерплю! Крапивное семя! Вот тебе двадцать батогов за осквернение полосы, змееныш!

Размахнулся посохом, сбил меня с ног.

Хоть и оглушен был я костылем-посохом, но в следующее мгновение уже подхватился, выгнулся будто пружина. В воздухе мелькнул серп и — раз! — полоснул так по рясе батю, что полетели клочья. Поп ухватился за порезанную свою руку, за рукав рясы, взвыл волком:

— Караул!.. Смертоубийство!..

Я не помнил, как все это произошло. Кое-кто из посторонних на селе видел только потом, как я бежал из лозовых зарослей к себе в шалаш-избушку, размахивая серпом, и кричал:

— На Кавказ!.. На Кавказ уезжаю!

По всему околотку разнесся слух, будто малец (то есть я) норовил серпом зарезать попа Ивана насмерть, чтоб забрать у него деньги — двадцать карбованцев да уехать с этими деньгами на Кавказ.

А мальцу то было всего-навсего одиннадцать лет.

— Урядник приедет, пороть чертенка будет кнутом, — перешептывались бабы. — За попа!.. За Капказ!..

Неведомый Кавказ принес пока что мне горе. Теперь уже хочешь не хочешь, а надо удирать куда глаза глядят. Ах!.. Все-таки полюбил я почему-то далекий, неизвестный мне Кавказский край, как неистребимую мечту об освобождении. Понаслышке знал я, что этот зеленый рай лежит где-то за далекими долами, за синими реками, за знаменитым городом Рыльском, ко-

торый, говорят, произошел от свиного рыла. Я представлял себе даже Кавказом древний этот Рыльск, о котором много слыхал, но где никогда не был. За Рыльском, по молве, лежит еще город Сумы, происшедший от нищенских сум. Туда — в Рыльск, в Сумы, за леса, за горы, на край света!.. На спасительный Кавказ!..

Но все получилось не так. Чуть было не пропал я, вот как пропадает муха в паучьих сетях или комар на огне. Поднялась в околотке тревога: замухрышка-сорванец, оборванец, крапивное отродье (опять-таки я!) поднял руку на власть духовную, хотел зарезать попа-батюшку. Ясно, есть у него сообщники, и всех их надо искоренить.

Мой отец с дядькой Петром скрылись бесследно. Соседи злопыхательствовали, требовали голову мою на плаху. Мужики-староверы, чтоб отвести от себя православников, пообещали эту голову преподнести попу на блюде.

Порешили на закрытом ночном совете мужики-староверы: отвести меня, как великого преступника перед богом и перед людьми, в стан, к приставу, к заплечных дел мастеру. Пускай, дескать, тот отрубит чертенку сперва язык и руки, а потом снимет голову.

Но старые хрычи не докумекали того, что словить-то меня не так просто: я скрывался от всех и в день и в ночь... в гаю-лесу.

## 4. У „БАБЫ-ЯГИ“

За околицей торчала на корягах-корчах полуразваленная хата «бабы-яги» — курной шалаш. По утрам над соломенной крышей вился кольцами дым, точно шалаш горел. Но все ж не сгорел. Заколдованную избушку, говорят, не брал огонь. И еще говорили: кто из окрестных жителей, особенно из ребят, осмелится войти в курень «бабы-яги», того она столчет в железной ступе. Недаром в ее кошачьих зеленых зрачках люди отражаются вверх ногами.

Но это была, как потом я узнал, вовсе не «баба-яга», а простая деревенская баба Стёпчиха, сварливая, горбоносая. У нее спина колесом, на щеке волосатая бородавка. В глазах — ничего страшного. Страшна была только ее избушка при дороге. Туда, по молве, залетала когда-то передохнуть огнезарная, дивная жар-птица — счастье человечье. Трепыхалась, сыпала жаром, а назад не вылетела: ее, вишь, Стёпчиха сжарила и съела. Гнался за жар-птицей — счастьем — на Коньке-горбунке молодец-удалец и тоже сложил свою буйную голову в избушке. Рассказывают дальше: девица-красавица спасалась от змея-горыныча бегством, завернула к «бабе-яге» в избу и там погибель свою нашла: «баба-яга» выдала ее змею.

А сколько, говорят, невинных ребят загублено в страшной избушке — и счет потеряешь! Норовил, мол, Илья-громовник, катаясь в облаках на огненной колеснице, разбить молоньей убежище «бабы-яги», ничего не вышло: земная колдовская сила заоблачную пересилила.

Теперь Стёпчиха носила из барского сада вязанки дров. Шла, нашептывала что-то, грозила костылем деревенским ребятам. . . Геть!

А заводила у ребят вихрастый забияка в рваной рубашке, с непокрытой головой и босыми, потресканными от пыли ногами, — это я, скрытник-полуночник. Не боюсь я «бабы-яги»!

Никто не знал, как живет и когда бывает в заколдованной избушке Стёпчиха. Дым, может, пускался ею из трубы для отвода глаз. А сама она, говорят, носилась по ночам на помеле, за горами, за долами, схватывала зевак да, возвратясь, разделывала страшные дела над ними в заклятой своей хате.

Об этом рассказывала мне, сорванцу, сказку родная моя бабушка Васса, сама немного похожая, особенно ночью, на «бабу-ягу». Только на руках у бабки Вассы — четки; беспрестанно она жаловалась на плохое житье какому-то своему святому покровителю.

Приходит как-то в воскресенье бабушка к нам в Турку из Всегощи, а я с допросом к ней:

— Ты, грешным делом, не молишься ли за «бабу-ягу», за Стёпчиху, бабушка?

С укором глядит на меня бабушка, а потом отвечает со вздохом:

— Молиться ни за кого не грех.

— И даже за сатану? И даже за «бабу-ягу», за горбатую Стёпчиху?

Урчит бабка Васса:

— Откуда это тебе взбрели в башку такие думки? Будто уж и взрослый... Брось это! Молитва за сатану — нож ему острый, хуже ладана.

— А Стёпчихе?

— Да Стёпчиха — простая баба, к тому ж — бедная, глупая.

— Нет, она — «баба-яга»! Толчет всех в железной ступе. Стёпчиха — сataниха! С рогами, с хвостом.

— А ты видал, как она толчет? Примечал у ней рога на лбу, хвост позади?

— Я-то не видал, а другие видали...

— Никому не верь! Сказки это...

Как же так? Раз называют все Стёпчиху «ягой», значит, правда это, а не ложь.

— А баба-яга, Стёпчиха, — враг рода человеческого, — говорили мне Роман Лысек и Петька Куда-да. — От ней все беды людские. Истинно! Она продала дьяволу свою душу. А толочь людей в железной ступе, вишь, помогают ей черти. Искоренить всю эту нечисть может только особый храбрец — солнечным шестом. Только богатырь!..

Ясно, думаю: чтобы беды все людские сгинули, заколдованную эту избушку надо разорить, а то и вовсе сжечь.

Недолго колеблясь, вооружаюсь солнечным шестом, попросту — палкой, шагаю к страшной избушке.

Вхожу в дверь: никого в хате. «Баба-яга» ушла, знать, по дрова в сад.

Тут я кричу грозно:

— А ну, «баба-яга» — костяная нога, выходи!..

Начинаю действовать. Шестом крошу вдребезги окна, божницу, глиняные горшки, кувшины... А самому невдомек: «Как же так: яга — костяная нога, и

вдруг — божница? Ладно, не попадайся, не живи у врага рода человеческого, бог!»

Сражаюсь храбро: опрокидываю стол, топчу горшки, чашки. Богатырь! Теперь-то уж все понесут меня на руках...

Но где ж железная ступа с чугунным пестом-толкачом? Нету ее. Да и костей человеческих что-то не видать. Впрочем, железную ступу все равно палкой не перебьешь. Добиваю глиняную посуду.

Но что это? У околицы толпа баб встречает меня отчаянным всплескиванием рук, ахает сокрушенно:

— Да што ж это ты наделал, окаянный?! Убить тебя мало за такие дела!

Это — вместо приветственных-то кликов храбрецу богатырю!

Сразу я возненавидел глупых баб: для них же старался, а они — вот что!

А бабы не унимались, жучили люто:

— Ишь, забияка, выискался, храбрец беспортошный! Теперь Стёпчиха через него всех нас заколдует... Оттащить его на край пропасти. Пускай «яга» разделается с ним сама как знает.

...Назавтра — сходка в деревне. Зовут на сходку отца. Сказывают, Стёпчиха требует от него теленка (единственное, что было у отца из хозяйства) за все то, что я натворил у нее в избе.

Теленок мычит бок о бок со мной — здесь, в хате. Сочувствует мне. Я дрожу от страха.

А сходка — за Стёпчиху...

Теленка мой отец отдал в тот же день.

Но, придя домой, вытащил меня из-под печки и на спине моей стал примерять деловито ремень, утешая:

— Стёпчиха снимет кожу с теленка и продаст ее за три рубля. Ну, а я спущу кожу с тебя, хоть бы мне за нее и не дали ни копейки. Чтоб не повадно было разбойничать. Сдеру кожу и собакам брошу! Кнут — не мука, а наперед наука!

Изведав «науку», я удрал в лес. Решил заделаться атаманом-разбойником или серым волком, чтобы доконать «ягу» над самой пропастью!

Ночью мать привела меня из лесу домой. Шел за ней — ягненок ягненком. Вот она, пропасть,— халупа из камыша!

...Позолотела над солнцем рожь.

Из-за темнозеленой дубравы катилось навстречу росам и василькам огненно-голубое утро. Здравствуй, лето красное!

Выходил в поле дед-приверед, заламывал в колосьях зало́м:

Заломлю я зало́м
На двенадцать голов!
Хто будет без песни жать,
Тот будет лежать.
Хто будет без солнца косить,
Тот будет голосить...

По желтому полю, словно по золотой парче, разбредались с песнями жницы. Пучки колосьев взлетали уже над белыми платочками, будто златоперые крылья. А в делянках вырастали стройной вереницей снопы. Шла жатва.

И мы, голыши, всей семьей вышли в поле зажинать. Серпы горели на солнце точно изогнутые копья. Бросались мы с ними в высокую рожь, будто в бой.

Перед этой битвой старшие братишки ухитрились выбрать лучшие серпы. Мне же достался серп в полроста моего. Не успевал я за старшими: они — по два снопа нажинают за какой-нибудь час, а я — по одному. Как бы сравняться с ними? А то засмеют, забранят.

Размахиваю серпом точно шашкой. Рву колосья с корнем.

— Да кто ж так жнет, несчастье ты мое?.. Ну, и народил же господь бестолочь!

Охает мать, отбирает у меня серп.

Я собираю оброненные колосья. Не удалось догнать старших. Не иначе как «баба-яга» шутки со мною шутит.

Но есть еще у меня радость впереди — лето красное с синими васильками, с алой земляникой. Не страшна мне «баба-яга» — костяная нога!

### 5. НА ОГНЕННОЙ КОЛЕСНИЦЕ...

Не знаю почему, но у нас не было настоящей хаты: то ли разделился отец с дядькой Андреем и оказался на бобах, то ли еще что, но жили мы в избушке на курьих ножках, что отец срубил. И вот...

Стояло жаркое лето. Домашние разбрелись. Никто не видел, как я взобрался на верх сруба, на макушку самую, уселся на стропиле и, свесив ноги, мерил глазами край пропасти.

Раздался тревожный крик снизу: отец и мать с ужасом машут руками, подают знаки, чтобы я не шевелился: внизу подо мной бревна, кирпичи...

Отец подставил лестницу, полез ко мне... А я кричу храбро:

— Ни капельки не страшно!

— Не кричи, упадешь...

Отец, вижу, дрожит. Я все так же кричу, но уже не из боязни упасть, а от предчувствия лупцовки.

Больше на сруб не лазил. Но не удержался от удовольствия вновь испытать край пропасти. Смостил себе помост на макушке большой рябины в гаю, да там, на этом помосте, и просиживал целыми днями.

Тщетно родные расспрашивали, где я пропадаю: я не открывал своей тайны. А когда все-таки нашли меня на рябине спящим, пришлось с грустью покинуть свой зеленый трон. Хата не была достроена, а в землянке-яме не хотел жить.

А жить надо и, главное, работать, чтоб не умереть с голоду. Теперь я да еще братишка Степан работали у помещицы Звягиной (или Звяжжихи, как ее прозывали) из-за куска хлеба: пахали, боронили, сажали и окучивали картошку, овощи, стерегли табун лошадей в степи. Брат говорил:

— Вот кто взаправду «баба-яга» так «баба-яга» — барыня Звягина. В ступе, может, она и не толчет, зато жилы вытягивает. А Стёпчиха не «яга», она такая же несчастная, как и все мы, хрестьяне.

— А что такое хрестьяне? — спрашивал я.

— Те, которые несут хрест на спине, из которых вытягивают жилы помещики да кулачье!

У меня спина трещит на работе от натуги, это верно, но я не хочу показать и виду, будто поддался Звяжжихе — новой «бабе-яге», и что будто она тянет из меня жилы. День-деньской, с зари до зари, работаю, а делаю вид, что пляшу.

Вот как надо жить!

Но за чернобрысые вихры мои, за худенькие, костлявые плечи цеплялись, словно репей, все новые и новые беды. Теперь вот объявилась последняя напасть: из конского табуна Звяжжихи пропала породистая, хоть и хромая, кобыла Магда. А так как табун стерег я в степи вместе с братом Степаном, то нас обоих и обвинила Звяжжиха чуть ли не в конокрадстве. Магду, может, задрали волки, когда мы, пригретые солнцем, заснули, а может, увели барышники-шибаи и в балке содрали с нее кожу. Следов кобылы не отыскалось. Звяжжиха требовала на расправу нашего родителя. Сами мы от страха разбежались кто куда... Как избежать напасти?

* * *

...Выхожу как-то за село летней ночью. Вижу: над лесом на закате маячит огненный крест.

Со мной братишка Степан. Мы должны были разыскать забредшую дядькину кобылу Пчелку.

Горит заря. Степан дергает меня за полу рубахи, тормошит, а я гляжу, словно завороженный, на огненный крест. Долго маячит он, наклоненный над лесом. И вдруг, срываясь, падает за лес...

Кричу братишке:

— Видишь или ослеп?.. Крыло огненное!.. Крест!

Тот испуганно, озадаченный, отвечает:

— Никакого крыла нету. Почудилось тебе. Идем домой.

Нет, не почудилось. Значит, не все видят то, что вижу я!

Бабка Васса, когда я рассказал ей об огненном кресте, всплеснула руками:

— Да это ж знаменье!.. Невинному открылось, что-то будет... Пожар либо потоп... А все через

«бабу-ягу», через ее силу... Кто постоит? Разве только Илья-громовник...

— Во-во! — подхватил я. — Илья-громовник задаст ужо ей жару, спалит ее вместе с потрохами.

Долго рассказывала старушка по селу о кресте. Узнали об этом и поп Иван — хорохор, забияка, лысый, с белым остатком косички на затылке, и дьячок Андрей Константинович (звали его «Котятиныч»), черноусый, чахоточный грамотей, пьяница и песенник. Дьячок успокаивает бабушку, да и меня.

— Это от солнца... Астрономия доказала. Очень часто даже огненные кресты появляются. К буре это...

— А может, к тому, что «яга» возьмет верх?

— Нет, это от солнца. А не к тому, что яга-вражина наколдовала.

— А Илья-громовник — от кого? Тоже от солнца?

— Илья-громовник был простой человек, такой же, как мы с тобой.

— А вот и не такой. Он разъезжает на огненной колеснице.

— Не робь. Я тебя выведу в люди. В солнечной карете будешь разъезжать, — подмигивает Котятиныч. — Слава солнцу, а не «яге»!

— Слава солнцу на небе высокому!.. — отвечаю я в знак благодарности (так меня учила бабка Васса).— А «ягу-ягишну» мы с Ильем-громовником долбанем-таки огнем!

Котятиныч берет меня за вихор двумя пальцами, осаживает слегка:

— Ну, это ты, хлопче, брось. Не перепрыгнувши, не говори гоп. Приходи ко мне в праздник на клирос, поучись уму-разуму.

Полюбил меня с тех пор дьячок, веселый псаломщик. Как-то в торжественную службу, на Троицын день, потащился я в церковь — на клирос. Церковь — единоверческо-старообрядческая, новая, но похожая на флигель. Кругом теснота, давка.

Дьячок поцеловал меня в макушку. Строго-настрого приказал: стоять мирно и не оглядываться по сторонам, не шевелиться.

В церкви — служба. Поп что-то бормочет, вроде «оглашенные изыдите». Потом — тишина. Я недоумеваю: поп кричит, а я что ж торчу остолопом? Оглядываться нельзя, но петь, кричать обязательно надо. Затем ведь и привели меня сюда.

И я как гаркну вдруг на всю церковь, повернув голову к толпе:

— Оглашенные, убирайтесь к черту!

(Оглашенные — понимал я как сумасшедшие, бесноватые.)

Пропала тишина. Шум, гам в церкви, давка. В смятенье дьячок зажимает мне рот. Поп в ризе бежит из алтаря, ищет виновника неслыханного кощунства.

— Убрать вон! — кричит он.

Катавасия!.. С гиком, с проклятьями выпроваживают меня из церкви.

Так я и не понял тогда, из-за чего набросились на мальчонку.

После обедни дьячок гонялся за мной по лугу, а поймав, похлопал добродушно по плечу:

— Из тебя, хлопче, выйдет толк!.. Не влетело от батьки?.. Ты не робь! А крест огненный, что на небе видел, — это к добру. Никакого чуда тут нет. Астрономия — наука и больше ничего. Поживешь — поймешь, узнаешь жизнь!

В страхоте, в яме-землянке, да впроголодь — не больно чего тут узнаешь. Вот если б крылья аль чудо-колесница под облаками — это да!

Жил я сам, не тужил. Был у меня маленький приятель-сверстник из кончанской хаты, Роман Юрченко-Лысков. Разоряли мы с ним гнезда воробьиные, швыряли комками грязи в прохожих баб, девок, дразнили старух. А чуть что — улепетывали на своих на двоих в лес.

Бабушка Васса наговорила нам много страшного про Елисея-пророка — это к тому, чтобы мы не смеялись над старшими. За насмешку над Елисеем («Лысый, лысый!») съели волки, дескать, сорок сорванцов-мальчиков. И нас, как в лес пойдем, съедят. Попутно бабушка рассказала нам историю и с огненными конями Ильи-громовника. На этих конях, мол, укатил

Илья живым на небо. И Елисея с собой взял, а потом сбросил его головой вниз. Ну, и правит оттуда грозами Илья. Знай, раскатывается на огненной своей колеснице. А тех, кто его не слушался, убивает громом. Не спрячешься и на печке.

Плохо дело: в лесу — волки, на печке — гром.

Эх, будь что будет!.. Только бы прокатиться на огненных конях — вот это так! Перешибить Илью-громовника!..

— Хочешь быть Елисеем? — предлагаю Роману. — А я — Илья буду, громовник. Прокачу тебя за первый сорт... на огненной колеснице. Зараз и двинем, а?

— Гм... — скалит зубы Роман. — Голову не сломаешь?

— Эка невидаль — голова!

— Коли так — попробуем.

— Прокатимся, значит! Прямо из шалаша — на небо. Авось, перешибем Илью.

— Прокатимся. Гм... боязно только... Вали!

Сказано — сделано. Захватываем спички. Пробираемся в шалаш помещичьего сада. Раскладываем костер.

Заревели, заплясали огненные кони, подхватили шалаш-колесницу, понесли к облакам. От огненного урагана Елисей-Роман бежит в страхе прочь. А я, громовник Илья, рвусь в огонь, в небо. Но вот незадача — оба мы остались как раки на мели на грешной земле. А тут, на земле, ох и лупили нас, и на сей раз поделом. Об этом мы догадались уже потом, когда погибло в огне полдеревни, а главное — наш новый сруб.

Утешало меня только то, что огонь взял дом Звяжжихи. Сгорело ее гнездо окаянное дотла...

## 6. ВЫХОДИ НА ПРОСТОР!

На совете пьяных мужиков-соседей порешено было: отвести нас, меня и Романа, как великих преступников, в лес, на казнь к лесному матерому разбойнику Максиму-привереднику. Пускай отрубит нам руки и отдаст на съедение волкам. За поджог.

От такого суда Роман сразу впал в уныние. Я же встретил приговор бесстрашно. Догадка у меня шевелилась: брехня это — отрубание рук. А по коже мороз драл: вдали синел лес с избушкой душегуба Максима... Об этом душегубе я раньше что-то слыхал. Отрубит, ой, отрубит руки!.. Меня трясла лихорадка. Судьи-бородачи готовили вожжи — вязать нас и тащить в лес. Самосуд, по всему, грозил и отцу с бабкой Вассой и дядьке Петру.

Когда стали нас вязать, бабка Васса вцепилась скрюченными пальцами в меня и Романа, заверещала:

— Не отдам!.. Убейте меня, не отдам! Невиновны они.

— Не скули, баб... — храбрился я, трясясь от страха. — Я сам пойду к разбойнику в хибарку. А ежели не пустишь, тебя тут убьют.

Бородачи-судьи подтвердили свирепо:

— Убьем! Для острастки.

— Ну вот, — говорю, — сам пойду.

— Взаправду? — допытывались судьи.

— Сейчас...

— Ну и иди, шут с тобой! Неси башку свою под топор.

И я тотчас пошел в лес. Один.

* * *

Наш край — село скрытников-староверов. Табором кочевым разбросано оно по холмам в верховьях речки Клевени и речки Амони. Это рубеж Украины, ясеневая дикая заросль, перевал солнца: отсюда весной переваливается рыжий лежебок солнце на север.

За селом прилегает древняя степная дорога — шлях на Киев. Сторожат шлях вязы, шапками великанов упираясь в небо. Раздолье — наш край!

...Я уходил в лес. Шумели дубравы. Ухало совами чернолесье. На закате стлались косым крылом золотые ткани нив. А по шляху проносилась тройка с ямщиком, с серебряным звоном бубенчиков. И в огненной пыли чумаки маячили точно колдуны, зажигали у возов костры. Лебяжьи облака обнимались с дальними

грозовыми тучами. Гремела песня косарей в предгрозье о дураках начальничках, о стороне лихой, разбойной, где вечерняя звезда освещает путь-дороженьку преступничку.

Косари пели:

Дураки наши начальнички:
Прописали шлях-дороженьку...
А дороженьку незнакомую
Освещала звезда вечерняя.
Как по той ли по дорожке-путю
Волокут на казнь преступничка!

Завывала песня. Надвигалась, гася звезды, гроза.

А я, преступничек, шел сам на казнь... Пощади меня, край мой душегубный!

Когда-то промышляли в этом краю, по сказкам бабки Вассы, жители разбоем, за что и получили званье турок-азиатов. Именовалось село в стародавние времена Знаменским. А как невтерпеж стало всем от разбоев, прозвали Туркой.

Было это, говорят, лет сто назад. Но и теперь разбойники тут не переводились — по потомству. Бабы пугали нас, ребят, каким-то Максимом-разбойником, точно самым страшным зверем.

И вот иду я к нему в пасть... Скорей бы конец! Соседи мучить будут, а этот сразу башку чик — и готово!

Бабка Васса, помню, рассказывала. В юности своей загубил Максим восемь душ. У двух ребят руки отрубил да и засушил. Под землянкой-хатой в лесу выкопана была у него «братская могила», куда он и прятал убиенных. А чуть подымалась молва против него, он впадал в набожность, с помином живых своих родителей.

В хате, ходит молва, когда-то с привередом сыном жили родители-старики. Раз попросился к ним нищий ночевать. Уперся Максим, чуя каверзу: проходи с богом, милый человек. Но старики уговорили пустить попрошайку на печь. Пустили. Ночью поднялась ссора между сыном и матерью из-за бога.

— Бог от глупости! — форсил сын.

А старуха язвила:

— А ты восемь человеков загубил от великого ума! Душегуб!

— Ого! Это-то мне и надо было узнать! — закричал с лежанки нищий-следопыт.

Это был агент тайной полиции.

— Ну-ко, хозяин молодой, идем в тюрьму! — скомандовал «нищий», слезая с печки.

Видит Максим — дело плохо. Тогда, чтоб скрыть все следы, убил он агента-следопыта, а заодно и отца с матерью. Потом подался на шлях, побрел по белу свету. Был в Туретчине, на Афоне, в Киеве. Вернулся из странствий. Злодейства его так и остались нераскрытыми. И теперь, убеждала бабушка, живет он в лесу, заманивает детишек невинных в хибарку, отсекает им руки по локоть, сушит эти отрубленные детские руки да с тем и выходит на разбой в полночь. Замки сами перед ним отмыкаются, а люди спят замертво. И если кого убьет, — следы пропадают навеки. И все это через засушенные детские руки... Колдовство!

— Ох, и мне отрубит руки, а потом башку, — шепчу я сам себе, а все ж иду, иду.

Подхожу к лесной хибарке. Тут, у дикой обгорелой яблонки, вижу — он. Высокий, костлявый лесовик-пасечник, в длинной дерюжной рубахе, с ободком-лыком на голове ссыпает из роевни в колоду на ночь рои.

— Ты Максим-душегубец? — лопочу, дрожа в смертном страхе.

— Максим — это я! — отвечает он.

— Убивай скорей!.. Только... не отрубай рук, дяденька... А сразу — башку!

Раскрыл мохнатые глаза лесовик:

— Дитятко мое! Что с тобой? Застращали, видно, лихие тебя люди. Не верь! С лютости лжа эта. Опомнись, ясочка...

Максим совал в руки мне туесок с медом, целовал в макушку:

— Скушай медку... Ты — из села? Гроза находит, вишь. Беги домой!

— А ты... не отрубаешь рук, знать? — осмеливаюсь уже я, размазывая по лицу слезы. — А?

— Пичужка ты мой! Золотко!..

Тогда я взял его, сам не знаю как, за шершавую руку, повел с собою домой, к отцу, в камышовую избушку.

Побрел он тихо вслед.

Вечерний сумрак спорил с тучами дальней грозы.

У села хороводная толпа, увидев Максима, орала:

— Душегубец! Ой! Прячьтесь все! Головоруб!

— Дикие люди, — шептал в слезах Максим. — Несчастные... Не верь им, дитятко...

Дошли до нашей хаты. Максим постучал в окно.

— Возьмите свово мальца, — говорит. — Гроза, вишь, находит. Открывайте дверь!

— А ты кто? — послышался голос бабки Вассы. — Может, душегуб?

— Ничуточки.

И заурчал пасечник-лесовик:

— Люто тут, в вашем краю, люто... Тьма! Окрестили душегубцем... с тем и помру. Но ничего, свет не без добрых людей. Они не помянут лихом. Седьмой десяток лет живу...

— На Кавказе, слыхать, по сто лет живут, — отходил я сердцем. — Вот где хорошо жить — на Кавказе!

— Хорошо там, где нас нету, — отозвался на мои слова Максим. — Тебе, деток, жить да жить. А мне бродяге-пустыннику не умирать на лавке — умирать на зеленой травке!

У хаты хороводная толпа, окружив Максима, надрывалась:

— Уходи, пес, в прорву! Пасеку твою разорим! Заклянем!

— Разоряйте, ладно. Я сам заклинатель собак... — шептал в сердцах Максим. — Мне мало надо. А мальца напрасно запугали: такой же он невиновный, как и я. Аминь!

...Эту ночь Максим был гостем у отца моего, который сам скрывался в лесу весь день, а ночью завернул тайком к родному очагу. Бабка Васса молилась тут, в углу, за всех неизвестным своим святым.

Утром, на другой день, я спросил Максима:

— Дядь, знаешь ли ты дорогу на Кавказ?

— Я — нет, — ответил Максим. — Но вот есть у меня знакомый странник-побродяжка, тот знает. Он и лютость всю людскую и гнев начальства заговаривать-утолять умеет. Да!.. Через него и я живу вот на белом свете. А то давно бы растерзали меня дикие люди.

— А ты кто?

— Обретаюсь в лесу, пасечкой промышляю. Да скоро брошу все, уйду в город Шебаев, в Рыльск — нагонять страх на жуликов.

Целый день он скрывался. И даже забыл про свою пасеку и лесную избушку.

Дядька Петро и мой отец тоже прятались. Летом «каждый кустик ночевать пускал», а все ж «хочешь не хочешь — в капкан вскочишь». Но беглецы избежали «капкана». Этому способствовала отчасти извечная, неискоренимая вражда-склока меж туркачанами. Склочничали в нашем селе и враждовали старухи и молодухи, богатеи-кулаки и бедняки, староверы и православные, бобыли и многосемейные. Кто посильней, тот подбирал себе артель-шайку, а кто послабей — заделывался поддужным какого-нибудь вожака, драл за него горло, работал кулаками. Когда ослабевал вожак, его все бросали, перебегали к другому. «Война» не прекращалась. Один конец села воевал с другим, одна дворня шла стеной на другую, пока не вмешивался кто-нибудь третий и не натравливал всех на четвертых, — так изо дня в день велась драка. Но теперь о ней как будто все забыли. Сейчас только и разговору было, что о стариках туркачанах — «проломленных головах-занозах», которые «угомонились», насытились дракой и залечивают свои раны водкой. Дуракам скушно жить без драки! Затишье...

Я тоже отсиживался дома, на печке.

На третий день, осмелев, Максим оповестил, что давний обет свой исполнил: нагнал страх на дикарей туркачан, прекратил вечные их склоки, клевету и драки.

— Прощевайте! — откланивался он.

С самого утра бродил по лесу бродяга-путник, сутулый и костистый, в засаленной кацавейке.

Из города Рыльска выходец-следопыт какой-то, говорят, подслушивал его разговор, крадучись, следил за ним по пятам. Максим тогда вернулся к нам в хату, будто нечаянно. Соседские бабы, настрополенные следопытом-выходцем, старухи и старики бросились было навстречу путнику с каверзным вопросом:

— Будет ли даровая нарезка земли?

Но он отмахивался от них, как от мух, изворачивался с ухмылкой:

— В Сибири земля. Без того вижу, жрать вам нечего, нищета на нищете. А всё деретесь! Всю Россию прошел я, в Туретчине был, а такой, как у вас, голи не видывал. Чего торчите тут, в этой дыре? Свет клином сошелся, что ли? Выходи на простор!

— А куда нам?

— В Сибирь — вот куда! На Амур, Владивосток... Да и на Кубань, что ли? А? На Кавказ ступайте!..

— Начальство на Капказ не пускает, грозит...

— Начальство само грабастает где плохо лежит. А чтоб скрыть следы — грозит. А вы лишний раз козырните дуракам начальникам, обведите их вокруг пальца. А свое дело делайте, разбегайтесь по российским просторам, по окраинам!

Соседи в страхе рассыпались по своим хатам. А Максим продолжал как бы сам с собой:

— Кроты!.. Торчат по землянкам. А перебираться надо к солнцу! На простор!.. На Кавказ!..

С печки, через кòмень, подавал я свой нарочно измененный голос:

— А ты, дядь, расскажи про дорогу на Кавказ. У меня одна нога тут, а другая — там. Жив не буду, — доберусь до Кавказа.

— Ишь ты, постреленок! Раскусил...

Максим заторопился к выходу. Он поманил меня пальцем к себе, пособил слезть с печки и ласково попросил:

— Проводи от собак. Самим лопать нечего, а собак держат лютых. Заклинать псов мне надоело!

— Да и у меня охоты нету, — пробасил я.

— Ишь ты! А собираешься на Кавказ. Эй вы, хозяева, дайте ему какие-нибудь лапти на ноги! Барахлишко на плечи! .. Должен он меня проводить.

Бабка Васса сняла с себя рваную дерюжную холстину. Во все это облачился я и шмыгнул вслед за путником к выходу.

Под свист ветра мы вышли за околицу. Прощаясь со мной, Максим заулыбался задорно, ехидно:

— Хочется тебе на Кавказ? Ну, так знай, что там жуликов еще больше, чем тут. Настоящий, чудодейный Кавказ вот где, — он постучал пальцем по своему лбу. — В башке! И вкладывается он мамашей при рождении... на всю жизнь! .. Блажен, у кого есть такой Кавказ. Не потрудилась маманя вколотить этот гвоздь, ну, уж тогда никакие чужие Кавказы-Амуры не помогут!

И ушел он вдаль, сквозь туман, один...

А я воротился, угрюмый и молчаливый, в хату.

Ночью стало известно: за те два дня, что провел Максим в нашем селе, пасечку его из четырех ульев разорили, лесную избушку разграбили, так что пустыннику пришлось удаляться куда глаза глядят, ни с чем.

Говорил мне дядька Петро:

— Вот они, подлые наши люди: ежели про кого прошла молва, что он «душегуб», — его все почитают и даже тащут к нему на расправу детишек, чтоб отвести от себя топор аль петлю «душегубца»! А как только прослышат подлецы, что душегуб тот стал миротворцем и добролюбом, грабят его, гонют в прорву! Так поступили и с Максимом... Я с ним говорил напоследок: он прощает всех и уходит на Кавказ.

Дядька Петро с отцом моим тоже (в который раз!) собирались вдаль, на юг, на далекий «Капказ». Они пойдут туда пешком — пиловать и плотничать. Мне ж придется подождать. Кстати, я помогу бабке Вассе перекопать запольный загончик — высадить картошку. А к тому сроку, глядишь, рачители-пестуны пришлют мне денег на дорогу, на поездной билет.

А может, я уйду вдаль уже будущей весной, когда чуть пригреет землю апрельское солнце. Путь мой будет лежать через Рыльск, через Сумы, через Ростов-Дон. В заоблачные дали!..

## 7. ДРУГ И ЗАСТУПНИК

Это было на другой год после пожарища.

Едва отстроив весной новую избу, ушел отец на заработки в Одессу. И вдруг в полночь снова загорелась наша деревушка. Подожгли ее какие-то люди бездомные, во хмелю, в гневе запалили кулацкую хату, и пошел гулять красный петух с крыши на крышу...

Помню: ночь, вихрь огня и дыма... Полураздетая толпа сумасшедших баб и мужиков мечется по улице, хватает в охапку дровишки и относит к реке, как драгоценность. А одежда и утварь горят тут же на глазах. И никто этого не видит. Визг, рев скота смешивается с ревом огня. Поднялась буря.

Мать и Юрчик, вопя, тащат нас, меньших, через реку. Окунаются с головами сами, нас окунают. Вода словно горит...

Сожрал огонь все начисто. «И что было — сгорело, и чего не было — сгорело», — выли днями и ночами погорельцы над пепелищем.

А мать молчала. Почему-то она не успела застраховать камышовую свою избушку на курьих ножках (скорее всего нечем было за страховку платить). Ей, конечно, не выдали страховых денег, как соседям. Она этого не понимала и не могла примириться с тем, что больше не придется строить хату.

До самой смерти мать не забывала этого пожара. Ей все мерещилось, что, получи она страховку — а ее всего-то могло быть не более полсотни, — мать надолго обеспечила бы жизнь свою и всех нас.

А бабушка Васса, указывая бабам на меня пальцем как на чудище, ужасалась безмерно:

— Глядите, глядите: крест огненный за два года вперед приблистался ему. Вот и случился пожар... Ох ты, внучек... Страшно... Беззаконники мы! Не увидать нам светлого дня!

Как будто я во всем был виноват!

— Раз он непутевый, надо его сослать в каторжный дом, в Сибирь! .. По приговору, — шумели про меня старики.

После пожара вся деревушка поселилась в землянках, в надречном юру.

А рядом, на холмах, непонятная праздная жизнь цвела. Там, в роскошных домах (их было три), окруженных садами-парками с фонтанами и гротами, в вековых заповедниках-рощах жили баре Забелины. Туда за подачками частенько ходил поп Иван с дочкой Антонидой да попадьей. Дьячкова нога в хоромы барские не ступала. Дьячок проклинал бар:

— Дармоедчина чертова, паразиты! .. Сгорела деревня, так они и не охнули, вроде это их не касаемо. Зовут меня, думают, пойду к ним обезьянничать? Сдохну, а не пойду, потому горд и честен! А они потеряли честь. Погибнут, окаянные, как хмарые мухи, попомни мое слово. Голодного не накормили, нагого не одели. . . Мракобесы!

И молодой дьячок отважно бил себя в грудь:

— Я за свободу! За бедноту!

И шел в гости к беднякам в землянки. Да и сам он ютился в землянке: «единоверец», а стало быть, опальный у начальства.

Особенно зачастил Котятиныч к Николаю — моему двоюродному брату.

— Бесценный друг! .. — изливался он в чувствах.

Угощался и угощал всех на последние гроши.

Мне он носил карандаши цветные, бумагу. Учил малевать. И я малевал какие-то страшные, не понятные мне самому рожи. Дьячок, глядя на них, хохотал до упаду.

— Купил бы тебе красок, да нет денег, — сокрушался он.

В пику барам, а отчасти из-за нищеты своей махнул дьячок работать к мужикам. Отпустил бороду, достал топор, пилу, объявился плотником. Помогал ему на первых порах Николай. У них крепко заколочена

была дружба. Работали вместе, артелью, но больше всего пьянствовали.

Пил Котятиныч запоем. Удивительные, задушевные песни пел. Под церковные колокола плясал «камаринского». С пьяных глаз стрелял из старого ружья в рождественскую звезду... Пугал меня вывороченным своим тулупчиком, с рукавами, приставленными к голове в виде чертовых рог. Как-то сказал он мне с грустью:

— Жаль, хлопче, догораю я, как лучина. Не успею грамоте тебя обучить. Как умру, вспоминай мои песни... Ты еще, впрочем, ни бе, ни ме...

Ох, и любили Котятиныч и Никола «Ноченьку темную, осеннюю». Исходили они в ней, в этой песне, страстью.

Когда шли на работу, тащили и меня за собой. Вечерами гуляли, пили вместе в корчме, плясали сами и меня заставляли вприсядку ходить. Нередко грустили они, ссорились, потом опять закадычные друзья-приятели.

Подметил я: неспроста дружил Котятиныч с Николаем. Что-то таилось между ними. Часто, упав к Николаю на грудь, вздыхал дьячок тяжело:

— Пойми, дубина ты, друг, не перенесу я этого! Нельзя терять и одного дня. Скоро помру, а напоследок докажу-таки попу долгогривому! Ты помоги, друг...

— Это — все в наших руках, — форсовито пятил грудь Николай. — Сказал помогу, ну, и конец. За почтарем дело не станет. С бубенцами двинем, побей бог!

* * *

Прошло лето красное, наступило бабье лето. Ясная осень. И друзья остепенились. Николай отправился куда-то в соседнее село на работу. Дьячок, притихнув, отдыхал в своей хибарке. Изредка только катал на пруду, в барской лодке, поповну Антониду, как заправский кавалер.

Потом и он исчез куда-то. С неделю я его не видел.

Как вдруг по селу разнеслась весть: Котятиныч украл попову дочку!

Оказалось: Котятиныч целый год уже крутил любовь с ней — жеманной, пухлолицей девицей. А поп и слышать не хотел о свадьбе дочери с дьячком, гнал их обоих с глаз.

Сам поп Иван (тоже из единоверцев-старообрядцев), так же, как и все, на обухе горох молотил, жил в просторной избе, часто работал в поле. Пил не меньше, а может быть, и больше дьячка. Плясал под колокола не хуже его. Гонялся за попадьей и дочкой с костылем. Словом, поп хоть куда, а дать дочке волю — стоп.

Тут-то и подоспел с почтарем Николай. Ночью выкрали они из поповского жилья Антониду, да в монастырь. Там Котятиныч и обвенчался с поповной.

Поп Иван, узнав об этом, выл два дня. После — запил. Потом побежал жаловаться начальству. А начальство только смеялось над «единоверцем» попом.

Котятиныч торжествовал.

Долго не унимался батя. И тогда дьячок-зять с другом Николаем, поймав его где-то в притворе, отдубасили долгогривого за первый сорт.

Тем все дело и кончилось.

Но вскоре кончилась и жизнь молодого дьячка Константиныча.

Сгорел от чахотки.

Вот был душевнейший и чистейший, благороднейший человек, чей светлый образ неугасимо горит в моем сердце!

Громом поразила меня смерть заступника-друга. От горя я чуть не заболел.

С отчаяния раскладывал цветные свои карандаши и бумаги на лавке, малевал его портрет под тяжкие вздохи. Вот он — в бороде и при часах.

Однажды отец незаметно взглянул из-за моего плеча:

— Ишь ты, малюешь... На кого, бишь, это смахивает? — ласково спросил он.

— Покойничек, Андрей Котятиныч! — поясняю угрюмо.

Николай оскалил зубы:

— Молодец... Художником будешь.

Мне казалось, что быть художником, это значит — быть худым. Я бросил малевать открыто. Проделывал это украдкой. Но где художничать? И с кого?

Тут мне ударило в голову: в церкви! Картин с образинами чертей, с ликами святых там хоть отбавляй. И мешать мне, ежели на день остаться, некому будет.

В ближайший же праздник я спрятался в притворе за лестницей. И когда кончилась служба, остался в храме. Один! .. Но забыл, что церковь запирается не до вечерни, а до следующего воскресенья. Меня заперли на целую неделю! .. Об этом я догадался только перед вечером, когда вдоволь намалевался у икон.

Заревел, конечно, телятей: окна — зарешетены, с колокольни не спрыгнуть. Пропаду с голоду...

Взбираюсь по лестнице на колокольню, в отчаянии хватаюсь за веревку, бью в самый большой колокол.

— Пожар! .. Набат! — кричат бабы, поодиночке и кучками бегут к церкви.

Николай зовет меня, кричит, грозя кулаком:

— Слазь! Все село переполошил! С ума спятил?

— Дыть... церква заперта, — ору я с колокольни, бросив уже звонить. — Ключ достань! Ключ... от церкви...

Но поп Иван сам мчался с костылем и ключами к ограде.

Торжественно, всем скопом, сняли меня со звонницы земляки. Выпороли, а карандаши и рисунки передали попу.

— Зачем ты остался в церкви? Что ты там делал, ирод? — вопил надо мной поп, потрясая рисунками.

— Святых малевал...

— Да они больше на чертей похожи, чем на святых! Гробовая крыша вам всем, анафемы!

## 8. В ЯРМЕ

Отец сказал мне как-то:

— Лошонок на втором году тянет борону, на третьем плуг. А тебе, сынок, уже — двенадцатый. Пора всерьез браться за работу.

— Мне бы карандашей... Я б малевал...— робко подымал я глаза.

— Кому карандаш да малюнки, а нам — ярмо,— вздохнул отец.— Земли нет, а ртов — сам-седьмой.

Меня определили в батраки.

Целое лето пришлось дюжить у хозяина-кулака. И если бы не песня солнца, едва ли бы я вынес эту тяготу. Солнце и звезды были единственной моей радостью, когда я еще ребенком изнемогал от непосильного труда. Казалось, днем без солнца не могу работать, ночью без звезд не могу бодрствовать (а надо было бодрствовать — стеречь лошадей в ночном).

Хозяин Прохор — крепкий, востроносый, белобрысый дед с хитринкой — подхваливает меня:

— Во какой! За взрослыми поспевает. Золото, а не хлопец. Стоишь хороших харчей, паренек.

Я из кожи лезу, стараюсь. Но скоро догадался, почему дед такой ласковый: выгода ему большая выдавливать из меня соки. Перестал особо усердствовать, но все же честно тянул ярмо.

За целое лето хозяин заплатил мне три рубля, похвалив при этом и меня и себя:

— Хоть я и договаривался с отцом держать тебя из-за харчей, но ты — работяга, дарю трешку тебе. Другой бы не дал, потому уговор — лучше денег, а я даю вот... Молодец, хвалю за работу.

Как святыню, зажал я в ладонь первую заработанную горбом трешку. Отнес матери.

Кости у меня трещали...

— Это от роста они у тебя трещат, сыночек,— утешала мать.

А сама плакала.

— Ничего, мам, кости у меня еще не поломаны,— бурчу я.— Подамся зарабатывать деньги с дядькой Петром на Кавказ!

...Проходил опять по деревушке бродяга-путник Максим, немолчный странничек, высокий и костлявый, в зипуне «костылем». Из города, где он жил, забрел будто нечаянно к нам в землянку.

Старухи и старики бросились было навстречу путнику за гаданьем. Но он отмахивался от них как от мух:

— Глупость — гаданье. Без гаданьев вижу — пустота у вас. Эх, вы, суслики! Залезли в норы и забыли про бел свет. Выходи на простор!

— А куда ж нам? — недоумевали старики.

— В город — вон куда. Бросайте дурацкие ваши полоски. В городе работа всем найдется. Там — жисть, а тут — смерть.

Старики отмалчивались. Бабы плакали. Максим хохотал.

Я крикнул с печки:

— Хочу в город, дядя Максим! Там тятька жмет!

Максим вдруг перестал хохотать, притих.

— Может, не он жмет, а его жмут? Так оно и есть. Ась? Это я пошутил... — забормотал он виновато. — Берегись!

А потом изрек загадочно:

— То, что мы тут почитаем за жизнь, есть смерть.

Поманил меня пальцем к себе, стащил с печки, попросил ласково:

— Проводи от лютых... Всему скоро конец! Будет нова земля и ново небо.

Мы вышли опять за околицу. Максим, прощаясь, заулыбался задорно-ехидно:

— В город-град, говоришь, хочешь? Мал еще! А может, пришлю тебе письмецо по почте, как знать? Может, и возьму с собой...

И ушел один.

— Возьми на Кавказ!.. Возьми меня на Кавказ! — кричал я ему вслед отчаянно.

Но вряд ли он слышал.

## 9. ПЕСНИ МОИ НЕСКЛАДНЫЕ...

Забредил я городом. Город это — каменные дома, мощеные улицы, заводские трубы чуть не до самого неба, грохот, дым...

Вспомнился сказочный Киев. «Должно, Киев — тот

самый рай, о котором бабка Васса говорит, — думал я. — А Кавказ? Видать, это тоже город, какого не сыскать по всему миру».

Вот дядька Андрей счастливый! Прожил в городе десять лет, сапожничал. Зачем он вернулся в деревню? К родным гнилушкам потянуло... А тут еще ногу вывихнули ему панские холуи.

Страшно мне глядеть на дядьку: маленький, хромой, борода точь-в-точь как у Николы-угодника, лет уже за семьдесят ему, а работает, наравне с молодыми тянет ярмо. Того и гляди, переломится пополам...

— Расскажи, дяденька, про город!.. — то и дело просил я.

И он рассказывал. В молодости, при крепостном праве, дядька вместе с братом моего деда Родиона — Иваном обретался в бегах. Скрывались они от помещичьего ярма. Бежали в Новороссию, избив перед тем своего помещика. Иван — грамотный, смекалистый — сразу же на иностранном пароходе в чужие края удрал. Может, в Америку?.. А он, Андрейко, — неграмотный. Пришлось по городам бродить, горе мыкать.

И еще рассказывал дядька: когда выучился он в Одессе сапожному ремеслу, загулял напропалую. По полтиннику в море бросал, — знай наших! А как вышла воля, захотелось родные края отведать, могилы отца-матери навестить.

Эх, хоть бы глазком взглянуть теперь на приморский город! Недаром поется в песне:

В городе Адесте
На прекрасном месте.

Но одряхлел дядька Андрей: не увидеть ему больше города.

* * *

Николай бросил пахать чужую землю.

— Будь она трижды проклята!..

И ушел на сторону, в посад монастырский, плотничать.

Как-то пришел он домой проведать дядьку, а я с ревом к нему:

— Своди в город, Николай! Ой, отведи, в ноги поклонюсь.

— А в колокол там не будешь бухать?

— Не буду.

— Ну, гляди ж... Под троицу пойдем.

И двинулись.

Два дня глазел я на вековые сосны, на высоченные башни посада, на купола. Бродил по соборам, слушал пение, колокольный звон. Кругом только и разговору, что про подвижников-святых.

Ну, и возжаждал сделаться святым, подвижником. Начну, думаю, и я творить чудеса. Буду не простым, а великим чудотворцем, по одному слову которого исцелились бы все до одного слепые и страждущие, исчезли бы с лица земли все несчастья, пожары, сгинула б смерть.

Но подвижником сделаться не удалось. Прежде всего потому, что пришлось вернуться из посада домой: надо было батрачить у востробородого деда, у Проши, который надавал мне подзатыльников за прогул и снова приковал к ярму.

И еще — это самое главное — то, что я... был «влюблен» в соседскую девчонку, оборвыша Мотьку, задиру и разбойнягу.

Взбалмошный, сочинял я про нее малопонятные, нескладные песни. Их распевали потом на деревне девчата и подтрунивали над неудалым песенником.

Избранница моя была старше меня на три года.

Насмеялась она над моей любовью: поцеловала другого паренька однажды вечером, с ним миловалась, а на меня даже и глазком не поглядывала. Проклял я ее. Но от этого взаимности не добился...

## 10. ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И еще одна весна!.. Время меня обгоняет. А звездная дорога зовет и торопит: спеши к своему счастью, малец!

Черняк, дядька Петро, ломается передо мной, будто пьяница перед чаркой вина, зудит:

— Ага, похудел? Это тебе не на солнце верхом кататься. Тяни лямку, баклушник! А я завтра — в дорогу. Брать тебя или не брать? .. Не возьму! Пускай тянет из тебя жилы Прошка.

Он собирался с отцом и земляками вдаль, на юг, — плотничать. От меня он это скрывал теперь.

Оба они ушли, чуть пригрело солнце, через Сумы в Харьков.

Каждую весну теперь они будут уходить в город. К зиме возвращаться домой: так говорила бабушка Васса.

Я бредил городом попрежнему. Отец иногда рассказывал о теплом неведомом крае с большими городами, с дешевым хлебом, с синим морем — об Одессе.

И когда я спрашивал его о теплой стороне, он всегда указывал на полуденное солнце, а ночью — на широкую звездную дорогу, что струилась поперек неба широким белым потоком огненных искр.

И вот, бросив Прохора-хозяина, востроносого дядю, убежал я с «ночного» на рассвете, туда, в город. . . неизвестно куда!

Добрел до Сум в два дня.

Прихожу на постоялый. Шатаясь от голода, плутаю по двору.

По разговорам, остановились тут орловцы-косари, а путь держали на Дон и Кубань. Всегда весною они уходили туда на косовицу. Так утверждали знатоки.

Я держал путь тоже на юг, днем на полуденное солнце, а ночью — на широкую звездную дорогу.

Денег на дорогу я не дождался и решил догнать (легко ведь босиком!) отца и дядьку Петра в пути.

Но вот дальше идти невмоготу — живот от голода подвело.

Шатаюсь, босоногий путешественник, по постоялому двору, гадаю, зажмурясь, по пальцам: идти или не идти дальше? Слышу крик:

— Звиткиля ты сам, хлопчик? И куда путь держишь?

Звал какой-то орловец. Он лежал в тени, под акацией.

— Рыльский! — отвечаю робко. — На Кавказ...

— А с кем? Аль самопером?

Я молчу.

— Подивитесь на тварь несчастную, — кивнул ласково на меня орловец, подмигивая то одному посетителю двора, то другому. — Не заблудился!.. Вот, думает, самопером до Капказа доберется. Ох, что из этого псенка выйдет — ума не приложу!

— То есть, как это самопером?

— Да, вишь, сами мы севские, орловские — проломленные головы. В дорогу на заработки вышли из дому неделю назад. Держим путь на Кубань. Движемся спрохвала, толчемся... глядь, а он, двужильный, тут как тут... Догнал! Что ты с ним будешь делать? Рыльский, стрекач! Должно быть, доставалось ему.

И шершавой ладонью гладит меня по вихрастой голове нежно.

Из окошка чайной слышится знакомый голос:

— Это ты, Тимон?

Оглядываюсь: дядька Петро! Люто воззрился на меня.

А потом, сменив гнев на милость, выбежал наружу и потащил в чайную (раз — чай, значит, гнев сменен на милость).

Из Сум, через Харьков, двинулись мы с дядькой на Дон. Отец ушел раньше на Одессу с земляками.

Шли в маете.

Пытал меня дядька:

— Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Ничего!.. Бруски будешь подтаскивать, пилить, помогать, стругать рубанком, — определял дядька мою будущую работу.

Теперь у меня такое впечатление, что до двадцати лет я ничего не видел: ни Киева, ни Харькова, вообще ни одного города.

А ведь было это: города и страны, степи и люди, горы и реки, станицы, небо юга... Но то, чем я когда-то жил и что пленяло меня изо дня в день, из дороги в дорогу, сплошной красотой, сплошным востор-

гом, — светлое мое детство, далекая жизнь городов, — все это теперь мне вспоминается как сон: ничего этого не было. И Харькова...

В Харькове мы остановились ночью. На постоялом. Работу так и не нашел дядька. Понапрасну ноги били по городу. Безработица... А меня это не занимало. Я больше драл голову на дома с башнями, на электрические фонари-луны. Электрические — это мне растолковал дядька, но я ничего не понял; только видел, что электрические луны светлее настоящей. И еще замечал я по утрам: вереницы нарядных мальчиков, девочек в коротких платьях куда-то бегут с книжками. В школу? Знают свою дорогу... А я — торчу у ворот, босой и без шапки, остолоп остолопом. Не знаю куда идти.

И вот я двинул. По людным грохотным улицам — искать свою дорогу... Назад к дядьке?.. Дудки, не вернусь!

Долго ли, коротко ли бродил. Очутился в участке.

— Откуда? Чей? — тормошили меня городовые.

— Оттуда... — протягивал я руку в пространство.

— Из деревни?

— Да. На постоялом теперь. У Рыбного рынка.

— Какой губернии?

— Што?

— Из какой губернии припер?

— А почем я знаю? На постоялом.

— Звать, гнида, тебя как?

— Тимон. Тим...

— Фамилия?

— Карпо̀...

— А кто у тебя на постоялом?

— Дядька Петро. Черный сам.

— У-у, крапивное семя!.. Возись теперь с твоим дядькой, ищи, где были свищи. У Рыбного рынка, говоришь?

Нашли все-таки. Тут же, в участке, дядька изрядно помял мне бока. Помогали ему городовые.

Свою дорогу я не отыскал. Пришлось брести чужою...

И все же помню: за один месяц своего бродяжничества по Харькову я вырос на целую голову.

Какое богатство новых слов, дум, планов! А сам город, железно-каменный, очаровал меня. Тысячи лун, цветов огненных на стальных стеблях. Глазища — окна домов, башен. Толпы людей. Рев гудков. Грохот повозок.

Красота! ..

## 11. „ЗОЛОТОЕ ДНО" ИЛИ ТАРТАРАРЫ

За Харьковом пролегал на юг широкий шлях. Зашагали мы по нему с утра. Нас уводил новый дядькин знакомый Евлан, искатель «золотого дна». Это был бородатый, черный от угольной пыли шахтер-проводник.

— Не робь, паренек, — подбадривал он меня по дороге. — Хо! Погонщиком коняки будешь, шахтером, значит, заделаешься. Шахта — золотое дно. Полезешь в шахту?

— Полезу, — отвечал я, сплевывая.

Сплевывал я уже, как заправский шахтер, хотя и не знал еще, что такое шахта.

— А дядьку забойщиком сделаем, — продолжал Евлан. — Деньгу зашибем — во! Я в шахте десять лет копаю уголь. А как затоскую, подаюсь в Харьков кутить. Море по колено! .. И обвал в шахте нипочем!

Как бы в доказательство, затягивал Евлан тихо:

Шахтер кутит по ночам,
Не сдается богачам,
Косы в руки не берет:
Под землей забой идет.
Эх, а если прозевал,
Засыпайся под обвал!

— А что это — обвал? — спрашиваю.

— Если обвал — гроб! — поясняет Евлан.

Вот-те и золотое дно! Откуда его принесла нелегкая? Угодишь под обвал — поминай как звали!

С Евланом столкнулся дядька Петро в трактире. Завели спор насчет того, кому и где лучше живется. Кончили тем, что вместе двинули к углекопам: лучшей жизни, должно быть, и нет на свете. А так как Евлан

знал все «на три версты под землей», то дядька мой и держался теперь за него, как вошь за кожух.

Пускай и обвал — лишь бы зашибить деньгу!

С грохотом и визгом опускались мы в железной бадье в шахту. Проваливаюсь в тартарары...

Глядь, стоп: дно. Пещера не пещера, а «золотое дно». Только вместо золота — грязь.

Идем в темноте по проходу-лазу почти ощупью. У Евлана на плечах кайло, за поясом — шахтерская лампочка. Здесь он заводила: за ним — целая ватага старых шахтеров. А дядька Петро всего только новичок-забойщик: кайло прижимает к груди словно крест.

Проплутав по темному мокрому проходу, обставленному крепежными кряжами, попадаем в широкий провал. Кое-где из-за уступов вспыхивают хищные волчьи глаза шахтерских лампочек: орудуют забойщики. Кругом — груды наломанных черных пластов, коробки-вагонетки с углем на рельсах. Тут же — вислоухая кляча с разбитыми ногами, в запряжке.

Кто-то дружеским пинком подсовывает меня под морду клячи. Кричит неожиданно дико:

— Эй, новенький, держи вожжи! Гони!

Будто в табуне я загикал, погнал:

— Э-эо! Берегись!

Толпа расступилась, шарахнулась в сторону. Перед этим дядька Петро, согнутый в три погибели, пропал где-то в уступе-норе. Евлан загикал над забойщиками, будто над табуном. Работа закипела.

Я гнал с гиком и свистом по рельсам груженную углем упряжку к выходу — к бадье-клетке. А мне казалось, что упряжка проваливается куда-то в преисподнюю.

— Сколько, паренек, зарабатываешь? — смеялись шахтеры.

— Черта рытого заработаешь тут! — огрызался я.

— А обвала не боишься?

— Волков бояться — в лес не ходить! — храбрился я все так же.

А у самого поджилки тряслись.

## 12. ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ

Влип я в дело. От забоя грузчики подвозили уголь на санках, грузили в вагонетки, а я — знай, гони вагонетки к подъемной машине. На зубах у меня хрустела угольная пыль, нос чернел, точно у трубочиста, да мне на все это начихать.

Конь мой Сокол, теперь безответный друг мой, давно уже начихал на все. Для него важен был только рептух. И когда я подвешивал рептух, он благодарил меня поцелуем мягких лошадиных губ в макушку.

Оба мы изнемогали, задыхались от непосильного труда: мне приходилось подбирать оброненные глыбы угля. Заступиться за нас было некому.

То день, то ночь кружимся в лютой работе.

И вот однажды затосковал Сокол. Шумно и грустно вздыхая, жалуется он мне на лошадином своем языке о чем-то печальном и неотвратимом. Быть может, о близком конце?

А я молчу. Подавляю в себе тревогу-предчувствие.

Вот-вот рухнет все кругом и похоронит всех нас под собой.

Я слышал уже, казалось, грохот обвала, заглушенные стоны раздавленных. Надо было кого-то предупредить. Надо было действовать.

Тогда, заехав в самое сердце шахты, я останавливаю Сокола и вдохновенно, но беспричинно ору благим матом:

— Обва-ал! .. Спасайтесь! .. Убе-гай-те! .. все-э! ..

Эхо вторит моему крику стократно. Сокол стоит как вкопанный, прядет ушами. Из ближних забоев прибегают бородачи шахтеры. Обступили меня, галдят свирепо и бестолково:

— Засть! .. Чего каркаешь, чертенок?!

— Убе-гай-й-те! скоре-е! .. — продолжаю орать. — Сейчас все ру-у-ухнет!

Переполох. Быстрее замелькали лампочки, отовсюду шахтеры целыми кучами сбегались уже к середине шахты в тревоге и крике.

— Где? Што-о?!

— Тут... — не унимаюсь, — об-ва-ал!..

Никто не верит. Вот и они — дядька Петро с Евланом. Подбегают ко мне:

— Какой там обвал? Чего зря людей страшишь?

Но как раз в этот-то миг и раздался протяжный немой гул, будто удар далекого грома. Прокатился сокрушительным эхом по закоулкам шахты. Так ловко совпало!

Все онемело в гуле. Сокол задрожал, протянул ко мне старческие свои губы, как бы ища защиты. Со всех сторон бежали сломя голову, падая и опять подхватываясь, люди с лампочками, кричали одичало.

— Выхо-ди-и на-верх! Все-е!.. В забое — обва-ал!

Толпа бросилась по коридору-лазу к выходу. Но оказалось, что выход заперт обвалом.

* * *

Толпа рабочих, заживо погребенных под землей, сразу же вгрызлась в страшную глыбу жалами кайл. Нора в проходе обвалилась. Но странно: никто не думал о смерти. Пробраться к выходу — вот чем жили все теперь.

И спасенье пришло. Летучие отряды откапывали нас день и ночь. И откопали. Мы, полуживые, поднялись наверх.

## 13. ПОТЕРЯННОЕ...

В конторе шахты дядька получил расчет — за себя и за меня: подальше от обвалов.

Идем снова в неизвестное, далекое...

Южный степной шлях. Полынь да бурьян...

Бредут вместе с нами косари из Орловской губернии, бабники отчаянные.

Мой дядька вроде затворника: от баб бежит стремительно и беспокойно, как от чумы.

— Много их тут, разных, таскается по шляху, — говорит он.

И еще: постится дядька Петро. Может быть, потому, что денег не хватает на харч? .. Нет, не потому. Просто дрожит над копейкой, как черт над грешной душой, — это мнение косарей.

В сумке у него что-то хранится, да никто не знает, что. Толку от него не добиться: распевает себе под нос псалмы, насвистывает.

— Брось праведничать, Петра Иваныч, — дразнят его косари. — Пойдем, проводим бабочек, а?

— У меня своя жена-молодайка, — летит сурово в ответ. — Чужие бабы — проказа. Жисть — это вам не кабак!

И в пояснение лился плавный рассказ о праведном супружестве. Первая жена у дядьки умерла в год свадьбы — от праведности, надо полагать. А вторая — крепкая молодайка — жива и здорова: ухватом действует, как казак пикой. Бьет по горшкам, а то и по башке, кто подвернется.

Вторую свою жену дядя все же любил, должно быть, больше, чем первую. Слишком часто вспоминал он об этой второй, отыскивая в ней разные достоинства.

Раз после такого разговора лезет дядька в свою сумку. Извлекает оттуда какое-то барахло. Одно барахло — свежее и яркое — платок. Для жены. Показывает косарям-путникам. Другое — тусклые, засмоленные штаны — бросает мне:

— На, пяль на себя. Купил на рынке.

Немного поотстав, я рассматриваю обновку. Нахожу, что штаны хуже моих посконных портов.

Забрасываю обновку в придорожный бурьян (благо, передние меня не видят за разговорами). А сам насвистываю беззаботно, шагая позади спутников.

Подходит ночь: обо мне как будто забывают.

* * *

Ночлег в степи. Переполох.

— Где обновка? — спохватывается дядька, увидев вдруг, что я в старых, посконных штанах, а руки мои пусты.

— Чего?.. — удивляюсь я, будто ничего не случилось.

— Обновку, говорю, куда девал, паршивец?

— Ах, штаны... Где бишь это?

— Потерял?..

— Угу...

— Да ведь я же целый двугривенный за них платил!..

— Ну-к што ж... отработаю...

Косари-спутники подковыривают дядьку:

— Штаны племяннику — двугривенный? Так... А за жёнкин платок сколько заплатил, Петра Ваныч?.. Рублик, чай? Любишь жёнку-то, поди...

Промолчал тут дядька. Но вижу — совсем рассвирепел на меня. На ночлеге, в степи, под тополем, всю ночь пилил меня долго и нудно:

— Расточитель ты, кровопивец несчастный! Терять одежу... Да это последнее дело! Хуже воровства. Где ты рос? В лесу, а пням молился. Все вы такие, чертенята! Мать свою в гроб вот-вот уложите, ироды. Бате шею на аршин оттянули. Будешь у меня баклуши бить!.. Почему не учишься грамоте? Я сам себя учил... Маленький? Учителя тебе? Нет, должон сам учиться — по людям добрым, по вывескам. В городе не будешь у меня ворон ловить. Подожди, я тебя проучу. Сказано: городской теленок понимает больше, чем деревенский ребенок. Я из тебя дурь выбью... Штаны потерял!..

И так до зари...

Я действительно многое потерял, не только штаны. Потерял надежду на счастье.

## 14. А ИМЕННО ИЗ-ЗА ЛЮБВИ...

Эдак и совсем можно остаться без всего. Но за кем идти, как не за дядькой Петром? И я иду.

В Миллерово расстались мы с косарями: им — на верховье Дона, нам — на низовье. Дорога далека.

...Переправлялись через Дон в разлив. Под Цимлой, кажись, было дело.

Двойной паром. Путешественники, повозки, лошади, казаки... Дон бурен на стрежне, бескраен в залитых берегах.

Отдельно на пароме, у кормы, — барская коляска. Отпряженного вороного держит под уздцы казак. Тут же — военный, грузный, седой, в шинели на красной подкладке, с золотыми погонами. А в коляске — молодая барынька, грустная, заплаканная. Но и суровая. Лицо — под кисеей тонкой, да глаза-то, как огни из-под туч, из-под черных бровей. Закрутила она вдруг белокурой головой, затрепетала в клетке-коляске. Кого-то молила шепотом, кого-то кляла.

— Перестань! — крикнул на нее седой военный.

Торчал он перед ней, как пень, облокотясь у ее ног о коляску, дымил ей в лицо трубкой. Старик. Гроза. Должно быть, генерал. Мало знал я тогда про генералов. Но соображал, что все генералы — седые да грозные, как этот старик.

Хлещут волны о борт. Дядька Петро крутит колеса с прочими, казаки кряхтят, правя рулем. А я не свожу глаз с барыньки.

«Жена!» — внезапно догадываюсь, затаив дух.

Толпа в тревоге мечется у перил. Напрягаются весла-колеса, не опрокинулся бы паром. А я вижу одно: генерал-старик несколько раз топнул каблуком, зазвенел шпорами, погрозил. В ответ барынька только метала огни из-под туч-бровей.

— Молча-ать! — гаркнул седоус, хотя барынька и без того молчала, только беззвучно кляла.

И вдруг что-то сверкнуло на солнце: кинжал. Взмах... и барынька из коляски — прямо в волны Дона.

— А-а-а... — голос барыньки оборвался.

Ахнула толпа.

— Зарезал! — закричал и я дико, карабкаясь у борта парома.

Волны крутят барыньку. Точно снег, белеет на миг что-то (платье?), потом все идет ко дну.

Лодка-душегубка, гик казаков-смельчаков, плач толпы, рев лошадей, вздыбленных у перил, и — неумолимые, немые волны...

И — седоусый, свирепый военный, в шинели, в фуражке с красным околышком, с кинжалом в руке.

Неподвижный. Безумие в расширенных, диких глазах.

Казаки-смельчаки, покружив в душегубке над волнами, причалили к парому ни с чем: барынька на дне.

— Это... вы ее саданули, ваше-ство? — осведомились казаки у седоуса.

— Я, — захрипел тот.

— А именно за что? Из-за чего?

— А именно из-за любви...

...Уже паром давно причалил к тому берегу. Седоуса-генерала куда-то повезли казаки в его же коляске.

А в толпе оголтелой долго еще перекликались:

— Утонула?

— Угу.

— А именно из-за чего?

— А именно из-за любви.

Мы молча двинулись с дядькой в казацкие хутора.

## 15. О ТОМ, КАК НА КУПЦА ПАНИКУ НАГОНЯЛИ...

Передышка — в станице Мартыновской, на реке Сал.

— Нашел работу, Тимон! — возвратясь на ночлег в сарай, обрадовал меня дядька Петро, потому что все эти дни был я печален с голоду. — Вот и задаток. Завтра же идем балаган строить. И ты помогать будешь.

Это было в самый разгар лета в богатой казачьей станице на Салу. Готовилась ярмарка. За месяц до начала стучали на площади топоры, визжали пилы, росли балаганы, лавки, склады.

Дядька орудовал над дощатым балаганом — «театром». Помощник у дядьки — я, плохой помощник, сказать правду: мал еще. Но работа и мне нашлась: я носился у комедиантов на побегушках, кряхтел над земляной работой, носил мусор.

Не знаю как, подружился со мною тут акробат

«театра» по кличке Козел. Длинный, как кишка, с острым бритым лицом. Весельчак и заноза. Я ему помогал развешивать над входом размалеванных чертей. Да и сам Козел, пожалуй, похож был на размалеванного черта, но я полюбил его всем сердцем.

С жаром работали мы, в поту, в мозолях. Спали только перед рассветом, на соломе из-под зверей, в вони звериного помета. Акробат называл это «благорастворением воздухов».

* * *

Канун ярмарки, южная душная ночь. Отовсюду несутся веселые крики, песни пьяных, горят гирлянды огней.

— Завтра представление? — осведомляюсь нетерпеливо у Козла.

— Это будет что-то сногсшибательное! — отвечает он.

Сам знаю, что будет какая-то невидаль. Я заранее и облюбовал себе особую щелку в стене балагана, чтобы беспрерывно глядеть на небывалое. Без денег кто же меня пустит в театр?

Назавтра загремела ярмарка тысячью глоток.

В степи под майским солнцем южная ярмарка пестра, многошумна, разгульна, точно половодье. И в центре — театр-балаган.

Вот он, Козел-акробат, в одежде черта, вертится вьюном перед размалеванными чертями на помосте. Пляшет плясун будто на канате, зазывает зевак зычно:

— Заходи, публика, не жалей рублика! Забудь про небеса, в аду увидишь чудеса!

Публика валом валила...

В первом ряду восседал краснощекий чернобородый толстяк в плисовой жилетке поверх малиновой рубахи, в лаковых сапогах бутылями — купец Корытников.

— Устрашайте купца Корытникова второй гильдии, черти паленые! — грохотал он. — Душу намерен продать дьяволу, ада отведать... для похудения...

Плачу пятерку — только устраши, черт-обормот! Не боюсь...

Чтоб угодить купцу, устрашать кинулись все сразу. Козел, держа в руках шест, заплясал по канату. Два старых комедианта ходили перед купцом на руках. Сам хозяин немец притащил из зверинца змею-удава и начал засовывать живую удавью голову себе в рот.

Ничего не помогало. Купец кричал исступленно:

— Мало! Эка диво — с шестом по канату... Ты без шеста спляши на канате! Тады я, может, испужаюсь... А голову удавью — черт ли в ней? Откушу сам, потому не боюсь... Ты так устраши, штоп я в панику впал... сразу штоп я похудел... Сотню плачу! Вдаряй меня в панику!

Тщетно лез, весь в поту, акробат по веревке под самый потолок, тщетно засовывал голову в петлю... Все без толку!

— Ха! Разве от этого похудеешь?!

Хозяин-немец отчаялся на последнее средство: достал из корыта, из воды, страшного крокодила, чтобы засунуть ему в пасть свою немецкую голову. Напрасно! Издевался купец, а в панику и не думал впадать. Выбегали полуголые комедиантки, помахивали голыми ногами у самого купецкого носа, — да разве от этого мог похудеть купец Корытников?

— Хоп-ля! — визжали плясуньи.

— Я тебя ляпну! — обрушивался на них толстяк.

Все в ужасе.

Но... выручаю всех я.

Возненавидел, глядя из своей щелки на все это, толстопуза.

Как я представлял себе тогда, «впасть в панику» — значило просто свалиться под лавку замертво. Мне жаль было и моего друга, канатного плясуна, впавшего в седьмой пот, и хозяина немца, норовящего всунуть голову в пасть зубастого крокодила, и оголенных комедианток. Надо было всех выручать.

«Сейчас нагоню панику», — твердо решил я.

Поглядываю в щелку: сидит брюхач тут же, передо мной.

Быстро разорвал я шов брезента, просунул в дырку

меж досок голову и заорал почти над самым ухом купца:

— Пожар!! Гори-им!! Спа-сай-тесь!..

Вздрогнул, отшатнулся купец, как бы защищаясь от удара, грохнулся оземь.

С каната ж, прямо на голову толстяку, сверзился плясун-акробат: сломал себе ребро о башку купецкую.

Толпа заревела. Двинула к выходу, разнося в прах скамьи, подмостки, двери...

• Кинулись виновного искать по голосу за стеной. Хозяин-немец отыскал меня быстро. И, подняв за шиворот на пол-аршина от земли, понес за кулисы лупить.

Но меня выручил — кто бы мог подумать? — тот же купец-толстяк.

На площади перед балаганом он заревел, точно кабан под ножом. Все бросились туда. Помчался, забыв меня, и немец.

И вижу я из-за балагана: под гогот толпы купца Корытникова лупит безотдышно сгорбленная свирепая старуха, бьет костылем по плечам. При этом приговаривает басом:

— Не ходи на позорище, не потешай дьявола... Не срами нашу веру, древлее благочестие... Вот тебе, вот, пес!..

— Единственно — для похудения! — ревел Корытников, подставляя то один, то другой бок под удары грушевого костыля. — Бейте меня, мамаша! Топчите меня ногами, православные! Позорьте... Доктор приказал. Авось, похудею...

Толпа грохотала громом.

А плясун-акробат, прихрамывая, строил уже купцу с подмостков длиннейший нос да зазывал публику истошным воплем в театр, обещая показать собственное ребро, только что сломанное о башку купецкую.

— Так ему и надо, толстопузу! — надрывался Козел. — Лупцуй его, бабка, чеши по лопаткам... Эх, заходи в театр, публика, не жалей рублика!

И толпа сызнова валила валом в балаган.

...Не помню, что с нами было потом. Кажется, мы с дядькой бежали без памяти в степное марево, к новым берегам, неведомым далям...

## 16. ГДЕ ЖЕ БАРАШКИ ЖАРЕНЫЕ?

Вот он, суровый Кавказ! Но почему — безлесные долины, голые горы? Почему это называется «линией»? Военная линия была тут, что ли, когда завоевывали Кавказ?

Зазимовали в станице Баталпашинской. Земляки приютили нас. Были они сами не то беглые, не то сосланные сюда из курских степей за веру «изуверскую», а может, за бунт — неизвестно. «Сехтанты», — называл их дядька Петро.

...Тоска и маята.

— Давит меня чегой-то в тутошних местах, — изливаюсь я в робкой жалобе. — Разве ж это Кавказ? И никаких жареных барашков!

— Подожди, — ворчит дядька. — Найдем работу — выдюжим. Будут тебе и барашки жареные.

Мы остановились где-то в маленьком городке, или, по-казачьи, станице. Здесь горцы сновали на стройных, струнных скакунах. В ярких, расшитых балахонах прогуливались кочевые калмыки. (Юрты их маячили вдалеке белыми и синими куполами.) Разъезжали на двугорбых верблюдах кумыки, ну, конечно, и русские купцы, с красным своим товаром. Все они называли друг друга кунаками Одни только аварцы-кавказцы в папахах, с неизменными кинжалами у поясов важно расхаживали по площадям и ни с кем не знались. Вообще же все — и казаки, и калмыки, и русские купцы, и кавказцы — на «иногородних» русских, на пришлых смотрели как на дикарей, и презрительно обзывали их «кацапней».

— Берегись, кацапня, ожгу! — то и дело слышалось где-нибудь на толкучке или в ночлежном курене.

Однажды кумык-верховой говорит мне:

— Принеси, кацап-шайтан, из речки ведро воды, верблюда поить буду.

Я послал его к черту. Он за это, конечно, огрел меня нагайкой-канчуком. А защиты просить не у кого: чужой край, чужие люди. Родное село в России вспомнилось раем.

«Вот тебе и Кавказ! Вот тебе и жареные ба-

рашки!» — корчась от боли, размышлял я в тоске. — «Нет, уж раз мамка не потрафила вколотить гвоздь-смекалку в башку, так, видать, дураком тебе и мыкать горе. А дураков и в церкви бьют».

Дядька, возвратясь в курень на ночлег, обрадовал меня:

— Гляди: двадцать карбованцев! Завтра идем балясы-беседки строить в саду у князька здешнего.

Это было в самый разгар лета. Готовились скачки. За месяц до начала стучали на степной площади, за станицей-городком, топоры, визжали пилы, росли скамейки.

Дядька плотничал. Я таскал бревна, доски, месил глину, кряхтел над земляной работой с лопатой-мотыгой в руках.

Подошла осень. За осенью вскоре нагрянули холода. Зазимовали голяки плотники в станице Баталпашинской. Приютили нас свои же земляки, сосланные сюда, на «линию», из курских степей. Жили они отдельным околотком, на окраине, в домиках, похожих на жилища коренных здешних обитателей — сакли. Горы Кавказа были видны издалека, они как бы давили всех тех, кто тосковал по родным полям и лесам. Дядька больше не заикался про жареных барашков.

Под весну мы работали уже в другой станице, у зажиточных казаков. Чинили сараи и мастерили табуретки. Нам что-то за это платили, но жили мы все теми же голяками. И только когда расцвели сады и луга, души наши обогатились скрытой радостью. Пленил меня весенний Кавказ. На горах — белые, ослепительные снега, зажженные солнцем, а внизу, в долинах, — невиданные цветы.

Земляки души в нас не чаяли. Ихний «князь», как его называли, — безбровый желтолицый мужик-силач Прокопий, изо дня в день нам все вдалбливал:

— Ребята вы, по всему судить, благочестивые... Оставайтесь с нами навек.

Но вскоре произошло нечто, что заставило нас бежать. Как-то дядька Петро, сидя на завалинке, расска-

зывал о праведности своего рода. И вот слушатели-«братцы», придя, должно быть, в восторг от его рассказов о благочестии, бросаются ему в ноги с криком:

— Он наш!

— Вы наши!

Кидались они уже и за мной, будто за драгоценностью.

Смекнул что-то дядька. Впал в беспокойство. По ночам укладывал меня спать на сеновале рядом с собою, чего раньше не делал. При одном только шорохе окликивал неизвестно кого:

— Кто такой? .. Зачем? ..

Ждали мы чего-то каждую ночь. И дождались. Раз на рассвете ворвалась к нам на сеновал кучка «братцев» в белых одеяниях, с зажженными свечами в руках. Впереди — безбровый Прокопий-силач, «князь». В руках у него нож, на голове бумажный венец.

— Благословен грядый... Да сподобится брат наш священной печати царя Давида!

Братцы что-то запели скопом.

Видно, ждал этого дядька Петро. Но странно: вместо того чтоб приветствовать «братцев», он схватил полено, отмахиваясь им, кричал дико:

— Не подходите! Искрошу! ..

Быстро заграбастал меня в охапку. Вылезли мы на крышу сарая через слуховое окно. Потом, спрыгнув с крыши, побежали в горы. Заря встретила нас взмахом золотых крыльев.

Вечером, усаживаясь тайком на крыше товарного вагона, признавался дядька как бы сам себе:

— Дурак! И чего же я с ними валандался? .. Скопцы чертовы! «Печать царя Давида»! .. Хотели оскопить нас... Вот тебе и «благословен грядый»!

## 17. В ЦАРИЦЫНЕ

Не бывать бы счастью, да несчастье помогло: после бегства очутился я в новом городе. К тому же поняли мы: пешком ходят только глупцы, зачем сбивать пятки, когда при сноровке да ловкости можно ездить по же-

лезной дороге: на крышах, под лавками, на буферах. Таким манером доехали мы до самого Царицына. Вот он — новый город! Волга в разливе — что тебе бескрайнее море...

— Красота, да и только! — восхищался дядька.

Здесь мы заделались грабарями: плотничий инструмент наш остался на Кавказе, у «братцев».

Город готовился к какому-то празднеству. Среди рабочих часто слышалось:

— Мы им покажем! Дождутся они новой коронации!

Тянулись эти празднества три дня под всеобщую пьянку, ругань и мордобой. От начальства даже приказ вышел: прекратить сквернословие немедленно.

Спьяна, останавливаясь на перекрестках под расклеенным приказом, гулены диву дивились:

— Как же это можно без ругани прожить?

— Да это все немецкие штучки...

— Царица — немка долговязая!

— Министры — немцы!

«Фараоны» ловили недовольных. Наловили целую толпу. Попался и я с дядькой.

Скоро нас окружили конные казаки, нагайками погнали в бараки. Нам с дядькой влетело по первое число. Не помню уж, как вырвались мы из барака.

И — прямо на вокзал.

А на вокзале — мытарства, пытки, худшие, чем в бараке: сразу попасть на крышу вагона, да еще под облавой, — это не фунт изюму.

Попали все-таки... Со станции с горы маячила Волга-красавица в огнях пароходов, точно сон. Любовался, любовался я матушкой рекой, да и заснул на крыше вагона.

Колеса стучат, степи бегут. Спросонок чудилось, будто это гонятся за нами казаки...

Мы вернулись домой.

* * *

На обратном пути я вспоминал о любви моей царицынской. Ибо — клянусь, это было так! — меня целовала там одна девчонка, в чайной, куда я ходил за

кипятком для артели. В мимолетные наши встречи девушка-подросток, хозяйская дочка с глазами жаркими, детски ласковыми и кроткими, говорила мне, дрожа в страстном шепоте:

— Мальчишка загорелый!.. Брось плакать!

Я хныкал.

Она не унималась:

— Глазенки мои блескучие... Накажи бог, люблю! У-ух-х!

Глаза ее меня ранили. Была она старше меня, сильнее. Я едва вырвался — бежал, обвариваясь кипятком. Девушка хохотала. И не знаю, что было жгучее: кипяток, глаза ее или хохот ее?..

## 18. ПОБЕДИЛА ЖИЗНЬ

Максим опять у нас, в землянке, в деревушке.

Меня треплет лихорадка. Открываю глаза, замечаю: у моего изголовья — фельдшер Никитич, грузный, добродушный усач-старик.

— Собственно говоря, малярия-лихорадка, — бубнит он. — Хины ему, хины по три порошка. Где схватил?

— Да, вишь, с дядькой ходил... на линию... на Кавказ... — говорит мать.

— Ясно: на Кавказе схватил.

Максим отстраняет вдруг фельдшера, говорит сурово, указывая на меня:

— Его жизнь в граде будущего.

Отец понимает это как наступающую для меня смерть.

— Непонятно, Максим... Умрет?

— Потом поймешь...

Подходит мать. Спорят все сразу: отец, мать, фельдшер, странник. Отец тащит ко мне фельдшера, а мать — странника. Отец спорит с Максимом, мать — с толстяком-усачом, с фельдшером. А лечить меня никто не лечит.

Странник твердит упрямо:

— Хины разные — тлен. Пущай умирает малыш для буйств сердцам. Счастливая доля!.. Уходи, фершал.

Наседает Никитич на бродягу грузно:

— Жулик ты, больше ничего! Пущай живет мальчишка. Уходи ты!

Жизнь и смерть, казалось, вели сражение у моего изголовья.

Победила жизнь.

## 19. РОЗОВАЯ ЗАРЯ

Из-за кустов розовых — Мотька-разбойняга, прежняя, мною проклятая, — вот она!

А напротив — другая девочка.

...В цветах на заре встретил я самую красоту: девочку-светлоглазку, Тамару. Из дома Забелиных.

Она знала, что прихожу я на вечерней заре в заросли роз из-за нее. Раз она спросила, гоняясь за мотыльками:

— Тебя как звать?

Ничего я ей не ответил. Свое имя я не любил. А она опять:

— А твою подружку?

Была у меня подружка Мотька, прежняя любовь моя. Забыл я все на свете, и Мотьку... Заглянул я в душу светлоглазке и обалдел.

— Ну ее... эту Мотьку! — бормочу.

Ни о чем меня больше не спросила Тамарочка. Ушла в стеклянный дом за розовые розы!.. Насмешка это или любовь?

...Мотька-разбойняга следит из-за кустов розовых. Дорвалась-таки до меня!

— Эх, ты, оборванец! Не издох?

— Убирайся к черту, Мотька!

— Ан и не уберусь. Крапивой сейчас тебя отстегаю. Жив? О чем это ты тут врал?

— Я не врал... А ты — колдовка!

— Ай да кавалер! А еще в городе был...

Мотька из девчонки-оборвыша превратилась за эти

два-три года в девчонку-подростка, смазливую и крепкую работницу, плясунью и песенницу. Теперь она зарабатывала себе на платье поденщиной. Сама запахивала батькин надел. На коне гарцевала верхом, как заправский наездник. Шиковала ситцевыми нарядами по праздникам. А на нас, мальчиков, кричала при встречах басом, дралась. Со страха мы разбегались от нее, принимали за колдунью.

Вижу, сейчас меня Мотька возненавидела. За что? ..

Оправдываюсь перед ней робко:

— Фершал велел мне ходить в сад... от болезни... помогает...

— Знаем мы, какие болезни! — со злобой хохочет Мотька. — В девчонку втюрился? Расскажу на деревне — засмеют... Оборванец, а туда же... В городах был, а без штанов воротился, ха-ха-ха... Дубина стоеросовая!

И впрямь дубина стоеросовая — согласен. Впрямь вернулся оборванцем. Гол как сокол. Конец незабвенному детству. Его я так и не увидел...

Но я увидел единственную... девочку-светлоглазку... вновь.

В белорозовом коротком прозрачном платье, гибкая и стройная, она была сама розовая заря, забредшая в розовые кусты.

Она уехала с матерью в Петербург.

Зачем она пригрезилась мне?

## 20. Я ТОРЖЕСТВОВАЛ НАД ТЬМОЙ

Когда после долгих обследований признал Никитич, что от моей малярии и следа не осталось, это его озадачило.

— Не ожидал, собственно говоря... — удивленно двигал он, точно морж, седорыжим толстым усом. — Не иначе — гипноз... Никак странник? Где он теперь? У меня у самого — нервы... доктора лечили, не помогает.

И он бросился всех расспрашивать о Максиме. Разыскал его где-то на постоялом дворе, в уездном городе.

С той поры Никитич подружился с ним. А через него — и со мной.

Из жалости, из непонятной ли дружбы ко мне, сорванцу, похлопотал за меня Никитич в соседнем селе Амони насчет работы у старшины. Работа известная: батрачить, стеречь животину, повозничать.

— Держи ухо востро, — говорил он. — Может, из тебя выйдет толк. Жаль вот, школы нет в вашей деревушке. Бедность батькина! .. Да, собственно говоря, это дело десятое. Я сам грамоте в солдатах учился. Санитаром был... На фельдшера держал. Это все — дело десятое... — понижал он вдруг голос. — У меня поважнее фортуна оборачивается. Может, депутатом стану, половина России будет у меня под началом! .. Уф, нервы... А ты — старайся, старайся, Тимон!

Понял я это по-своему так: самое важное — нервы, через них можно половину России получить под начало. А все остальное — дело десятое.

Но как раздобыть нервы?

Меня отдали в кабалу к старшине на скотный двор, где батрачил мой брат Степан.

Старшина — высокий, щеголеватый пройдоха, совершенно лысая яркокрасная голова, седая «скобелевская» борода, хотя, как говорили о нем, ему — не больше тридцати. Дома он не жил. Занят был вечными разъездами по поставке скота в города. При встрече с нами не удостаивал и разговором. Едва ли даже догадывался, что мы у него работаем. Судьбами нашими заведовал старший батрак Мануха, молодой парень в кучерской безрукавке, в фуражке-московке, с серебряной серьгой в ухе. Мануха властвовал над двором неограниченно. Всех презирал, а самого хозяина звал не иначе как Шугуренок — уличная кличка. Снизойти, да и то не всегда, Мануха мог только до Никитича.

Братишка пахал, я боронил. Иногда стерегли стадо:

он — лошадей, я — коров. У старшины было их вдосталь. Пасли стадо по толокам, по кустарникам, снятым старшиной у помещика. На колченогом, изъеденном оводами старом коняге Акимке братишка вечно гонялся за лошадиным табуном. Я на своих на двоих вечно гонялся за стадом молодняка...

* * *

Как-то в бурю и дождь слышу: с проезжей дороги, из-за леска, несется истошный крик. Степан услышал, в переполохе сам кричит заглушенно:

— Режут человека!

И забивается в шалаш под зипун.

А я набираюсь вдруг храбрости:

— Чего скулишь, надо спасать человека!

— Ну, и спасай сам!

Быстро ловлю Акимку. Взбираюсь на него, вцепившись в гриву, мчусь сквозь бурю, в дождь, за лесок на дорогу: вопль оттуда не унимается.

С разбегу колченогий Акимка спотыкается в кустах. Я падаю через его ушастую голову, воткнутую мордой в грязь, скатываюсь на какую-то душу в бурке и... узнаю Никитича.

Сидит фельдшер на корточках, под дождем, дико таращит глаза, вопит истошно:

— А-а-а... Караул!..

— Никитич... очнись... это я...

— Ага... это кто, собственно говоря? — отряхивается он. — Не подходи никто! Пропадать так сразу! Ась? Э, да это ты, сорванец!

Подымается с корточек. Прячется за меня. А сам, тыча перед собой растопыренными пальцами куда-то в кусты, скулит нудно:

— Вон он... чертяка... Сейчас отскочил... За кусты убежал... Задушил бы он меня, собственно говоря. Брысь, окаянный!

— Да это пень! — кричу я.

— Ага, пень? — недоумевает Никитич. — Значит, надо домой — морок...

Взгромоздился старик всей своей грузной тушей на

коня Акимку. Заторопился домой. И уже подсмеивался над собой:

— Болезнь — это, собственно говоря, дело десятое. Нервы... Поважнее дельце обделал я: листочки сдал кому надо... Это все для вас, сорванцов, для будущего... А ты — молчок. Тайна. Вперед! Вперед!

Тронул Акимку, пропал в дожде, за кустами.

А я зашагал назад к табуну трубить перед братишкой о своей победе. О стаде забыл и думать.

— Где Акимка? — в тревоге встретил брат.

— Оседлал Никитич... А что?

— Какой Никитич? Чего мелешь?

— Больной он. Это он кричал. Я его спас...

— Дурак! — кинулся брат и наградил меня оплеухой.

Сам вижу, следует. Без Акимки не перенять табуна. Да и перед хозяином и перед Манухой ответ надо держать Степке.

Под вечер брат погнал табун без меня пешком, так как ни одного коняги не удалось поймать. Остался я в поле один сумерничать.

Шел дождь.

В сердце же моем цвела радость: я торжествовал над тьмой, будто Никитич нашел свое спасение от бед на моих плечах, а не на Акимке.

За единственным дождем — сушь. Страшны безработица, голодуха. Беды эти навалились точно гора. Согнал меня Мануха с хозяйского двора за самоволье.

Двинул я на поденщину, за пятак в день на своих харчах. Изобрел сам себе харч — тюрю из жмины: две копейки в день.

Перед осенью приехал издали отец. Ждал я от него взбучки. Но отец, узнав про мои злоключения, сказал вдруг:

— Терпи, казак, атаманом будешь.

И, купив грифельную доску, повел меня в школу в соседнее село Поповку. Там он договорился кому-то делать хату, ну, и меня собирался с собой взять, чтоб обучить грамоте.

Школишка оказалась переполненной до отказа. Да и сам я уже был переросток. Лысый учитель издевался надо мной:

— Тебе пора жениться, а не учиться. Умным быть захотел?

— А вы — дураком хотите остаться? — отчеканил я в ответ.

— Пошел вон!

Экое горе! Мне ничего не осталось, как запустить в лысого учителя грифельной доской, что я и не замедлил сделать. За это потом меня отец хорошенько пробрал. Но, конечно, горю моему не помог.

## 21. СЛЕПЕЦ У СЛЕПЦОВ

Прошел слух: война с Китаем. «Китай — шуба, Россия — рукав. Куда же рукаву против шубы?» — так болтали мужики.

В тот год разразилась засуха.

Жители землянок с голодухи разбредались кто куда. Мастеровые искали работы в городах. Конечно, только взрослые. А дети и подростки бродили в степи беспризорными, точно волчата, питаясь у выгребных ям. Бабы ждали светопреставления.

Отвергли и меня все тогда. В голодовку, ясно, взять в работники нахлебником меня никто не осмеливался. Тут-то я и надумал удрать в поводыри к слепцам-нищим. Дорогу мне указал кто-то из земляков-односельчан. В дальнем хохлацко-цыганском селе Уланове обретались слепцы-лирники, цыгане-нищие, жулики. Туда и я подался за счастьем. Разыскал кого надо. Мне обещано было два куска хлеба в день — целое богатство!

Тотчас же и двинулись в поход.

Пробродил я поводырем месяц. Поводырничать куда легче, чем тянуть лямку батраком. Тут слепые:

этим не так-то легко поймать зрячего. Каждый раз, когда ощеривались слепцы на меня диким оскалом зубов, я отскакивал в сторону. Бить слепцам хозяевам (их было двое — старый и молодой) меня не удавалось, хоть руки у них и чесались. Старый называл молодого почему-то «камрад», а молодой старого — просто «дед».

— Грамотный? — спрашивал меня старый слепец.

— Нет.

— Значит, наш. Многознаек да задавак-грамотеев нам не надо. Да ты вот что, паря... — учили меня новые мои хозяева. — Сейчас, слышно, война с Китаем. Раскумекал, в чем тут задача? Подпевай нам под «лиру» — конец, дескать, свету! Эдак тоску нагонишь на всех, смятение. Ну и больше оттого давать будут... бабы-то... Ладно?

— Ладно. Нагоню.

«Лира» гнусаво дребезжала в руках одного из слепцов — старого Остапа. Я подпевал ей о конце мира, подпевал свирепо. Когда мы вступали, воя и дребезжа, в деревню, от страха сжимались сердца людей: нам несли кто что мог, делясь с нами последними кусками, печалью и радостью...

Как-то дед, корявый пень Остап, подманив меня к себе лаской, вдруг костылем замахнулся, зверем взревел:

— Распрощайся с жистью, пес!.. Любовь крутить, форсить вздумал, сатаненок? Девок прельщать? Тоже — ка-ва-лер! Гордость напускать на себя? Угроблю!..

Оказалось, виною всему старая барская шляпа. Какой-то барин проезжий на шляху подарил мне ее. Слепец-старик об этом проведал. Два дня подряд расхаживал я в ней; действительно, девки и бабы восхищались. Но через них-то старик и узнал о шляпе. Теперь уже она, злосчастная, на взлохмаченной голове Остапа красовалась, а я сокрушался: прощай, кавалерство мое!

— За девок до гроба могу довести, — грозился дед Остап. — И поделом: не гордись перед девками в шляпе. Понял?

— Понял...
— Девок любишь?
— Люблю.
— А они тебя?
— Угу...

Из-за баб и девок между моими новыми хозяевами-слепцами постоянно шли распри.

Остап-лирник, крепкий хитрый старичище, высокий и рябой (борода как бы выдрана: осталось несколько седых волосков сбоку левой щеки), с переломанным носом и ямками вместо глаз, выеденных, должно быть, оспой, клял и поносил своего спутника на чем свет стоит.

— Ты мне и в подметки не годишься в рассуждении баб, — грохотал он на камрада. — Дай тебе девку, ты ее и поцеловать-то не сумеешь. Я тебе в этом деле сто очков дам вперед. За пояс заткну! Потому ты жулик, убивец. А я самый счастливый человек на свете. Кровь с молоком! И гордость имею к тому ж. Без гордости пес ты, а не человек!

— А солнце ты когда-нибудь видел? — вопрошал молодой слепец.

— А ты?

— Я видел! Оттого и говорю: для нас... весеннее солнце встанет. Скоро прозреем.

— Плевать мне на солнце! — шипит Остап. — Я сам себе солнце — хозяин я! Сам дьявол мне не брат... А ты камрада чертова, и больше ничего!

У камрада-спутника, костлявого, сутулого парня, глаза всегда были сомкнуты плотно, но, как мне казалось, преднамеренно. Этот язвил старика скупо и деловито:

— Замолчи! Таких, как ты, земля скоро откажется носить.

— Я вольный казак, — говорил дед. — Я все могу.

— Но ведь ты и трех шагов не ступишь без поводыря? А бахвалишься. Вот я, так это верно, без поводыря пойду куда угодно.

И Остап, отмахиваясь от парня костылем, цеплялся уже за меня. В гневе гудел над моей головой снисходительно-строго:

— Тут ты, Тимон? Знай — ты мой поводырь, а камрада — к черту на кулички! Не робь: ослепнешь когда-либо сам... Только помни: слепцу гордость полагается.

Перед «походом» сказал Остап спутнику-парню:

— Кабы не дурак был ты, давно б уж поводыря завел себе. Ходил бы сам по себе хозяином. Глядишь, и девка отыскалась бы. Свадьбу сыграли б, во!

— А ты любишь по свадьбам-то гулять?

— Ой, люблю! Особенно на богатой.

— Значит, ты за богачей?

— Я за гульбу!

— Ничего ты не понимаешь, бревно... Слыхал про тех, кто за нашего брата, голяка, бьется? Они всю Россию за собой поведут.

— Наплевать мне на них. Я сам себе — водитель.

Слепцы кидались в драку остервенело, рвали друг на друге рубахи. С плачем я разнимал их, и они мирились.

...Подходили к селу.

Остап настраивал свою «лиру». Дребезжали струны... Я подпевал волчонком:

Эй вы, бабы, девки,
Слухайте запевки:
Конец белу свету,
Гоните монету.

Отбиваясь длинными костылями от собак, собирали муку, сало, паленицы. Камрад в обмен на яйца всучивал бабам какие-то печатные грамотки. А в грамотках тех — слыхал я потом — наказывалось: отбирать у помещиков земельные отрезки, а у попов да богатеев — хлеб для голодных, жечь помещичьи гнезда, за волю драться, из огненных искр пламя раздувать...

Шли так через все село. С музыкой скрывались в степи. По дороге примыкали к нам новые нищие — больше из цыганок-молодух. Тогда, завернув в овраг, дед командовал всем собираться в кружок. Разводили

костер, жарили сало, пекли яйца. Пели непонятные песни...

Под визг цыганий я и засыпал у костра.

А камрад думал какую-то свою думу...

## 22. ПРОЗРЕНИЕ

Старик Остап возненавидел «божественные», как заверял его камрад, грамотки. Из-за них переставали давать нам в зажиточных дворах яйца и сало. Чуял дед нутром — не к добру грамотки. А я разбрасывал их открыто. Толпа баб устраивала из-за них целую свалку. Ко мне лезли с расспросами. А я и сам не понимал, в чем тут загвоздка. Догадывался только: листки за нищету, против богатеев.

Погнали нас в одном селе вдруг в три шеи. Едва мы успели удрать в лес.

Тут-то Остап и пригрозил нам каторгой.

— Бунтари, — грохотал он, размахивая костылем. — Думаете, меня проведете? В каменный мешок законопачу! Хозяин я есть и буду, а вы рвань! Резню затеваете?.. Угроблю!..

* * *

Брели мы лесами, ночью. Тропинки извивались меж сосновых коряг, в овраге, по мерзлому мху. Начинались первые заморозки. В темноте набрели на речной омут: попробовали брод — не достали дна. Тогда надумали по очереди перепрыгивать или «стербать», как тогда говаривали, через омут.

Обычно, при прыжках через ручей или ров, я, как было у нас раз и навсегда условлено, должен был кричать слепцам: «Стербай на костыль!» или «Стербай на полкостыля!» То есть, ежели ширина ручья или рва на глаз не превышала длины костыля или полкостыля, я должен был подавать команду соответствующую, а ежели ширина прыжка не покрывалась костылем, значит, мне надо тогда было кричать: «Поворачивай вспять».

В темноте тут я еще не успел глазомером измерить ширину ручья. Кажись, был он шириной на два костыля. Уже приготовился я было подать команду: «Поворачивай вспять», как вдруг дед сорвался с крутого берега, да и ухнул вниз головой, в омут.

— Поворачивай вспять! — вскричал я тут дико.

Но было поздно: волны, бултыхнув под обрывом, проглотили с тяжелым вздохом слепца.

Голова Остапа на миг как будто вынырнула черной корягой из глубины. Дед еще барахтался, нырял под корнями. Камрад с криком: «Держись, старина!» — кинулся вытягивать его из воды, но старика уже не было, остались от него лишь шапка да зыбучие, в звездных блестках, круги по воде...

Камрад сам чуть не затонул, с трудом выкарабкался из водоворота.

И вернулись мы с ним вспять — в дальнюю деревню в курную избу бобыля.

Назавтра встаю, вижу: хватил мороз, заковал реки, ручьи. «Остапов труп, значит, теперь подо льдом», — соображал я. Но самое удивительное было то, что камрад проснулся переодетым, в новой поддевке, в новых шапке, сапогах и... зрячим.

— Гляди в оба! — первое, что сказал он мне после сна. — Я теперь не слепец больше. Понял? Я — Туляк!

— Понял. Ключ и замок! По гроб!..

А вот понял ли Туляк, что и я вместе с ним тоже прозрел?..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

# МОЯ ДОРОГА

## 1. ТУЛЯК-БУНТАРЬ

Пали снега. Забесновались вьюги. Вгнездилась в дремучем лесу колдунья зима.

Там, с дровосеками-сторожами, прожил я все зимние дни и ночи. Был я теперь уже не мальчишка, а отрок-юнец, который во всех водах мыт, всеми собаками травлен. Драл я в сторожке лыки, собирал в трущобах, по пояс в снегу, валежник на топливо. Рваный кожух да самодельные лапти без онуч — вот и вся моя одежда. Проклинал я лютую стужу.

В долгие зимние ночи дровосеки посылали меня с «флинтой» — заржавленным ружьем — караулить лес. Сами же заваливались в лесной избушке, храпели на сугреве у камелька.

Наконец заиграла, заплясала́ голубая весна. Привела за собой в золотых дождях урожайное лето —

радость голытьбе. Голод пошел на убыль, а жизнь на прибыль. По хуторам и селам вновь зазвенели песни — и грустные и веселые, безутешные и раздольные, но все же песни.

Потянуло меня к родному очагу, хоть и знал, что там — нищета и голод. Пожурив, что я бросил лесную избушку дровосеков, а стало быть, потерял пятирублевый заработок, матушка тогда же пристроила меня батраком к старшине Шугуренку пахать, боронить, косить, повестки развозить, лошадей стеречь, хозяйских собак беречь. На целое лето, до самого Покрова!

И опять я в Амони: возница при сельском «пункте» — на стоянке. Этот «пункт» арендовал Шугуренок. Здесь же была и кузница Туляка. Он — починщик инвентаря, жестянщик и слесарь, мастер на все руки.

Тула, Тула, Тула я,
Тула родина моя! ..

Туляк делал вид, будто не знает меня. И я знать не знал и ведать ничего о нем не ведал, знал свое дело: с темна до темна развозил я по селам повестки налоговые, судебные и почтовые, стерег лошадей в ночном.

В Амони с Туляком-мастеровым дружило полсела. В каждом почти дворе он что-то чинил, паял, налаживал сбрую. Ютился у старшины на кухне.

Мануха — приказчик шугуреновский — снизошел до Туляка: «подарил» ему свою дружбу и защитил перед урядником.

Время было тревожное. Мужики ждали даровой прирезки земли «на живые души», дерзили начальству. Время от времени под помещичьи риги и усадьбы кое-где пускали «красного петуха».

Урядник Картузов с дюжиной стражников прятался в стане, где отсиживался и пристав.

Мануха — веселый, залихватский парень с острыми серыми глазами, с буйным чубом над бровями — водил начальство за нос, форсил:

— Я всю нашу волость знаю как свои пять пальцев. У нас — тихо.

И «власти придержащие» ему верили. Да и как не верить: с отрочества работает Мануха у старшины,

сперва батраком, потом — на правах дальнего родственника — доверенным лицом, полухозяином, одевается по-городскому и сводит с ума деревенских девок. Одна девка из-за него будто бы даже повесилась — обманул он ее. Начальству положиться можно на такого парня!

Сам Шугуренок занимался спекуляцией, ростовщичеством, коммерческими авантюрами. Скупал он по дешевке помещичьи леса и пускал их на порубку в продажу. А так как окрестные деревни то и дело горели, то Шугуренок, беря у погорельцев доверенности на получение страховых премий за сожженные хаты, клал полученные деньги себе в карман, а одураченным голышам отпускал на новые стройки лесной хлам. Десятикратные барыши! Коль чья-либо страховка не оправдывала положенных барышей, тому Шугуренок давал десятку-другую взаймы на полгода, а в расписке должник обязывался вернуть взятую сумму в троекратном размере к сроку. Возвращали все и всё.

Помимо того, Шугуренок снимал в аренду у гуляющих помещиков-землевладельцев пахотные ланы, по пятерке за десятину, хлеборобам же сдавал за один засев и «сним» по двадцать рублей за ту ж десятину. Львиная доля ланов засевалась им самим, то есть его работниками. У него держались в хомутах, под ярмом и лошади, и волы, и... батраки. Разъезжал он по засеянным полям на дрожках день и ночь, следил за севом и уборкой, сосчитывал копны, обмолачивал хлеб паровым двигателем. После уборки отвозил зерно в Севск — на продажу. И загребал деньги. Поздней же осенью скупал коноплю и, вырабатывая на собственной маслобойке конопляное масло, отправлял его в Москву. Опять же деньга!

Так — из года в год.

На пышных хлебах у Шугуренка вольготничал Мануха, катался как сыр в масле. Но вот с некоторых пор стала охватывать его непонятная тревога. Прибежал он как-то в кузницу к Туляку и давай пытать-теребить.

— Ты подведешь-таки меня под монастырь. Сам я — черниговец, потомок казаков-запорожцев, а вот

связался, окаянный, с вами, голоштанниками! Теперь по селу ползет слушок, будто со стариком Остапом бродил в позапрошлом году другой слепец, помоложе. И будто бы летось они пропали, точно в воду канули. Так уж невдомек мне, к чему эти слушки-разговорчики?.. Под кого этот подкоп?.. По какому праву урядник Картузов об этом меня допрашивает?.. На урядника мне наплевать, потому за меня и земский Анисимов и сам предводитель Васьянов. Но, сказывают, эти слепцы смутьянами были.

— Враки! — отрубил вдруг Туляк. — Мало чего болтают... Вот про тебя говорят, что ты людей под петлю подводил.

— Я?

— Ты! Девку загубил? Загубил. А доносы на мужиков писал после Дубровицкой заворошки? Писал. В Орловский централ не одну душу засадил.

О «заворошке» в Дубровицком и в других селах Севщины, где хлеборобы, доведенные произволом бар и голодом до отчаянья, только что разнесли в пух и прах несколько помещичьих имений-экономий, разделили дойных коров и рабочих лошадей, а барские хоромы запалили, — об этих «аграрных беспорядках» запрещено было говорить.

И Мануху озадачило, почему Туляк знает обо всем и не боится говорить?

— Мели, Емеля... — махнул он рукою и тут же хитро спросил: — А что такое «заворошка»?

— Заворошилась Россия — вот что! — также сощурив глаза, ответил Туляк. — Русского языка не понимаешь?

Тогда Мануха выхватил из кармана смятую бумажку и сунул ее под нос Туляку.

— Твоя рука?.. Твои стишки?.. Писатель! Разве это русский язык? Вот, слухай, дубина ты стоеросовая, свое сочинение:

Старшина наш тучный,
Брюхат, как корова.
Голос его звучный,
Орет, как ворона.

В башке его вместо мозга
Набита солома...
Чтоб его, проклятого,
Заела хвороба!

— Какой же это язык, ежели не русский? — улыбнувшись, спросил Туляк.

— Об этой твоей крамольной брехне насчет тучности старшины, который, всем известно, худ, как щепка, дни и ночи работает, — поговорим после!

— Чего тут говорить! — гремя молотком, бросил Туляк. — Донес уже небось старшине? С чем и не поздравляю! Я знал, что ты подлиза, но все-таки не думал, что ты еще и доносчик.

— Доносчиком никогда не был и не буду! По гроб! .. Благородство имею!

— Значит, не показывал стихов Шугуренку? — допытывался Туляк. — И не покажешь? ..

— Да никогда в жизни! Хоть ты и есть бунтарь.

— Слово?

— Честное, благородное!

Они ударили по рукам и пообещались «кушать пирог с грибами, а язык держать за зубами», особенно о заворошке.

За год до этой заворошки вспыхнули крестьянские бунты на Харьковщине и Полтавщине. Там разгромили до десятка дворянских поместий, в том числе и дачу-усадьбу харьковского губернатора князя Оболенского, после чего сложили с хлеборобов «выкупные» платежи, которые тянулись еще со времен крепостной зависимости. Но о самой заворошке, первой по времени, тогдашние газеты не проронили ни звука. Зато о второй, начатой Антоном Щербаковым в глухом лесистом углу, на границе трех уездов — Дмитровского, Севского и Глуховского, откуда до ближайшей железнодорожной станции насчитывалось не менее пятидесяти верст, — московская газета «Русское слово» разразилась невероятной ложью. В газете писалось, будто тут орудовала целая повстанческая армия, все имения и усадьбы разграбила и сожгла, весь племенной скот вырезала, а людей, живших в усадьбах, поубивала. И еще будто бы, «когда Курский, Орловский

и Черниговский губернаторы, имея каждый по батальону солдат», прибыли к месту происшествия, повстанцы отступили в брянские леса. Губернаторы за повстанцами в леса не погнались, а принялись пороть в здешних деревнях всех мужиков — и правых и виноватых... Началась, дескать, всеобщая расправа.

Грамотеи читали и ухмылялись: всех не перепорют! И какие такие губернаторы? И откуда эти батальоны солдат?

В действительности, никаких губернаторов и никаких солдат тут не было. Но помещики с уездным начальством не дремали: вылавливали в деревнях по ночам «зачинщиков» и увозили неизвестно куда, говорят, в Орловский централ, в губернскую тюрьму. Слухи о мужицкой заворошке расползались по всей стране.

Тогда я во всей этой кутерьме плохо разбирался. И все же для меня было ясно: Туляк не только бродячий «кузнец-починщик», хитрец и маскировщик, а еще — писатель-поэт и бунтарь! Забота моя теперь — быть его верным помощником, оберегать его от любопытных глаз и длинных ушей, самому молчать и ни о чем его не расспрашивать. «Этот, — думал я, — рано или поздно задаст жару жуликам!»

Сам он, правда, рассказывал о себе кое-что, мимоходом.

— Я — матрос, на былинке взрос, — часто говорил он.

В порыве откровенности, за чаркой сивухи, он открывался, что стихи его печатают в журнале «Родина», что пишет он по ночам в тесном чулане, при коптилке, хочет быть «настоящим писателем», а пока кормится слесарным ремеслом и, по собственному желанию, подзадоривает мужиков против бар. И еще разъезжает зимою по российским городам и местечкам с паспортом на имя Тычинского, тогда как настоящая его фамилия Виноградов, а зовут Павлином.

Из разговоров в деревенской глуши, а гораздо позже — из коротких, случайных встреч с Туляком, во всей красе предстал предо мной его незабываемый образ — образ бесстрашного подпольщика-революционера. Какая из революционных партий была ему

больше всего по душе, никто не знал. В шутку называл он себя «анархом», ставил «на голову» выше многих других. Признаться, его стихи, рассказы и статьи, что доводилось мне читать, не отличались блеском.

...Говорил как-то Туляк-мастеровой мне полушепотом в закоулке старшинного двора:

— Время заворошки близко. Загрохотали уже рабочие в городах. Черед за деревней. А как только деревенская голытьба с городскими рабочими сомкнется, тогда — держись земля! Небу будет жарко!

— И чертям тошно! — поддакивал я, понимая все это, как некоторое светопреставление. — А ты сам — из бар будешь аль из рабочих?

Тут Туляк принимался за рассказы о своем прошлом.

Сам он — из городских бедняков. В детстве потерял мать и отца. Нищенствовал мальчонкой на церковной паперти. Работал поденщиком на городских огородах, у каких-то теток. В зимнюю стужу — полуголым вороненком — собирал из выгребных ям обледенелые кости, старье, рвань... Был уличным носильщиком, торговал спичками. Шкуры обдирал с бродячих собак... А когда подрос, поступил подмастерьем на завод медноплавильный тульского купца Баташова — самовары мастерил из никеля и меди.

Тут-то и столкнулся он с заезжим «студентом-технологом».

## 2. УЧУСЬ МОЛЧАТЬ

Казался с виду этот студент баричем. Всегда-то он ходил на практику заводскую с тросточкой и в перчатках. Вечно разило от него духами. Но это, как потом узнал Туляк, для отвода глаз. На самом деле студент жил по чужому паспорту, знакомил рабочих с грамотой, с листовками. Он-то и просветил Туляка...

А обретался студент в центре Тулы, в особняке «самого» Баташова. Репетировал, что ли, дочку хозяина. Ну, заодно ходил на завод. А на заводе для него не было большей радости, чем встреча с под-

ростком-подмастерьем, дерзким вихрастым вороненком, с Туляком, который с той поры стал другом его.

Так началась новая жизнь для Туляка. Многое перенял от учителя своего юнец. Главное — ненависть к дармоедам и любовь к наукам.

Заворошились заводы. Туляк-юнец шмыгал среди рабочих, неуловимый и юркий, точно вьюн, разбрасывал листовки, раздувал кадило.

Грянула забастовка. Все увидели, что дальше по-старому жить нельзя.

— Долой дармоедов! — гремела толпа.

Баташов рвал и метал: его завод забастовал первым.

Кинулись искать виновника, а того и след простыл. Студент-репетитор убежал с ученицей — дочкой Баташова — за границу. Через два года он появился нежданно-негаданно. Разгуливал под фамилией Щербак и в другом обличье. Это был уже не студент Петербургского политехнического института, в темнозеленой тужурке с золотыми вензелями на плечах и в форменной фуражке с золотыми же скрещенными молотками на тулье, а вроде коммерсант или вольный художник. Невозможно было разобрать, чем Щербак этот за границей занимался: учился ли, играл ли в рулетку, баклушничал ли? Ни с кем из тульских своих знакомых он не встречался, ни перед кем себя не обнаруживал. Но с закадычным другом своим, с Туляком, встретился. И поведал ему, что за границей познакомился он со многими русскими революционерами, распрощался с баташовской дочкой (вернее, она его бросила) и вернулся на родину, пробуждать людей, открывать им глаза на правду. Начали они сообща политикой заниматься; тульские или, скажем, рязанские пахотники были скорее ремесленниками-кустарями, рабочими-сезонниками, чем постоянными пахарями. Земля у них — подзол, суглинок, затрачиваемая на эту землю работа не оправдывается никак. При первом же кличе они пробудились от дремы. Да как расправили плечи, да как двинули, так в каких-нибудь два-три дня и расчехвостили с десяток помещичьих усадеб под Тулой.

И среди них — богатейшее поместье самоварного фабриканта-заводчика Баташова.

Щербак, конечно, действовал так тонко и деликатно, что придраться к нему начальство не могло. И он, не мешкая, тогда же переехал на Украину и там поднимал мужиков против кровососов-помещиков.

А Туляка словили. Погнали этапом на Север. Оттуда он потом бежал, пробрался в Питер, достал там у какого-то дворянина-пропойцы Тычинского документы, да и улетел на юг вольной птицей.

И теперь живет Туляк-закоперщик здесь, в украинских вишневых садах, раздувает кадило среди хлеборобов, добывает свободу и землю им.

Но об этом — пока молчок.

— Да ты ж мне вот рассказываешь, дядь... — говорю я. — А я — молчок?

— А ты — молчок! Научись молчать, а говорить научишься.

Вскоре стряслась беда: за потерю казенного пакета меня посадили в «холодную». А «потерял» я пакет потому, что он до зарезу оказался нужным Туляку. Была в том пакете бумага, которая, как заверил меня Туляк, хорошую службу может сослужить ему против душителей народа. Раз такое дело — бери, Туляк... Будь что будет!

По селу неслась тревога: Туляк-починщик на Шугуренковом рысаке укатил. Сел на дрожки — и поминай, как звали!

— Поймают!

— Поймают!

— Дыть у него, может, до десятка пачпортов... К тому — денег полон карман. И волостную печать, бают, увез...

Шум шел как на пожаре; в «холодной» я ждал конца суматохи, может быть, своего конца. Меня трясло в лихорадке.

До охрипу кричал брюхач на селе. Поднял на ноги все начальство: старшину, старосту, стражников. Открывался всем он как на духу: Туляк — «сицилист», конокрад, поджигатель, фальшивомонетчик, подделы-

ватель печатей и паспортов. «Держи! Догоняй! Лови! Обыскивай! Стреляй!»

Целое поле брани!

В полдень примчался урядник Картузов. Этот сразу утихомирил приятеля-писаря.

— Туляка все равно теперь не догнать, — ищи ветра в поле! — увещевал он. И чтобы очистить все-таки полицейскую свою «совесть», Картузов схватил тут же за шиворот старосту Воробьева. Связал ему руки. Скомандовал стражникам:

— Шашки наголо!

Потом старосте, вдохновенно:

— Печать отдавать? В город, в тюрьму его, арш!

Под военным конвоем старосту увели в городскую тюрьму, чтобы «не бунтовал».

— Бунты тут разводить? — воевал потом целый день урядник с мужиками. — У меня не забунтуете! В порошок сотру!

Под конец, к вечеру, умаялся. Остыл.

Туляка, конечно, не нашли: его и след простыл.

А Мануха, мои родственники, поп Иван чинили надо мной суд и расправу. Приговорили: дружбу с Туляком мне простить, но за потерю пакета держать меня в каталажке на фунте хлеба и кружке воды в день до поры до времени.

## 3. СВЕТ И ТЬМА

Про него рассказывались легенды. Воришек он убивал насмерть каменным своим кулаком. Взятки брал — и с правого и с виноватого. Перед ним дрожали одинаково все: и те, кто жаловался, и те, на кого жаловались. «Сицилистов», забастовщиков и вообще непокорных бил Картузов шашкой, рукояткой револьвера, шпорой. Мужиков, не снимающих перед ним шапок, драл как сидоровых коз.

У него, говорили, было уже несколько домов в городе, даже имение где-то купил, а урядничества не бросал с тех пор, как отличился в турецкую войну, в Закавказье, откуда и попал на должность урядника.

Сам пристав боялся его: заслуженная личность, вояка!

А личность — из ряда вон: глаза сверлят и косятся, будто у дикой кошки. Узкие черно-зеленые угольки. Нос — крючковатый. Ловил этот нос, казалось, ему одному ведомые запахи, из-под ноздрей торчали две седоватые стрелки усов. В правой руке — кнут «куцка». Когда прикатывал он из стана на дрожках в какую-нибудь деревню, собаки подымали невообразимый лай, а люди в подвалы прятались.

Вот этот-то Картузов и призывает меня ночью к себе в каморку. От страха душа у меня в пятки уходит. Горбонос молчит, медлит. Потом грохочет:

— Почему молчишь? Почему не говоришь «здравия желаю», сукин сын?

Дрожа, в отчаянии, я лопочу невнятно:

— Здравия желаю... сукин сын!

— Что?!

— Здравия... не желаю...

— И... не желаешь?..

В ужасе я спохватываюсь, да поздно: оплеуха звенит в ушах, из глаз сыплются искры, я опрокидываюсь куда-то в мусор.

— Н-н-нэ понимаешь! В порошок сотру!.. Руки по швам, мерзавец... Грамотный, нет?

— Н-н-нет...

— Твое счастье. Шкуру содрал бы, ежели б грамотным ты был. За неграмотность прощаю... Земля у батьки есть?

— Н-н-е-ету...

— То-то... Гляди у меня... Запорю!.. Пристрелю как щенка, ежели...

И вдруг неожиданно, приставив к моему лбу револьвер, упирается в грудь мне крючковатым носом. Говорит тихо, вкрадчиво, но и грозно:

— Пули не хочешь получить в лоб? Молчать умеешь?

— Не-ет... — лопочу я в лихорадке. — Ум-мею.

— Уф... Хо! — отваливается горбонос на спинку стула. — Чего дрожишь? Не зверь, не съем...

Щекочет меня, стучит под ребрами сухожилым пальцем, подмигивает, шепчет хитро:

— Значит, могила, понял? Молчи, как могила... хоть бы и резали тебя на куски. Вот тебе наказ: ты оставишь эту красную связку у Никитича, фельдшера. Тайком, чтобы никто не видал... Понятно? Он — знает. Марш!.. Воля! А напоследок — мой приговор тебе: ходи по струне! И полоумному этому Никитичу: чтоб связка была сожжена немедленно! Сейчас же! А то в Сибирь законопачу. Ежели узнаю, что не сожжены — смерть и тебе и ему. Только из прежней дружбы прощаю Никитичу его баламутство. Вы у меня теперь оба заложники, так и скажи. За Туляка, за его прокламации отвечаете своими головами. Ну, ступай! А Туляка я найду. Со дна морского достану!

Значит, милость, воля? От радости я чуть не падаю с ног. Схватываю молча связку и бегом к двери.

— Стой! — хрипит урядник. — А ты ж знаешь, что говорить, если он спросит?

— Не-ет...

— Скажи: от Туляка... Марш!

В полночь, выждав, когда улеглось все село, я бегу к Никитичу — в его флигелечек, что ютится за двором старшины. Живет там фельдшер, один. Он обрадовался, увидев меня.

— Уже? Молодец, собственно говоря... От Туляка? Это хорошо. Но никому ни гу-гу! Нам бы почту свою наладить. Ты, собственно говоря, будешь нашей... почтой.

— Это... урядник... подметнул... — говорю я. — Сжечь велел... А то — смерть!

— Ой, от урядника? Ну и Картуз-провокатор! Тоже дураков нашел. Думает нас на Туляке подцепить!

Связку Никитич аккуратно распаковывает. Листки, пересчитав, прячет где-то. Часть дает мне, велит завтра же разнести и незаметно разбросать по сборням.

Я так и делаю. Несколько штук приношу отцу. Он, прочитав их по складам, кладет бережно за божницу, как святыню.

— Это — «золотая грамота» о земле, о воле, —

говорит отец. И наказывает строго-настрого не гововорить об этом никому до поры до времени.

О «приговоре» Картуза я и не заикаюсь.

...Одолела меня дума о грамоте. Достал я у дьячка растрепанную, замызганную «Новую азбуку» с картинками. Налег на буквы, на слоги. Многие буквы были мне уже по вывескам знакомы. Никитич помогал, иногда — дьячок, иногда — отец. Был я тогда как в огне. Колеся проселочными дорогами, не расставался с азбукой, одолевал слоги и слова — точно жернова ворочал. Скоро мог уже по складам читать «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина, разбирать газету через пятое на десятое и выводить на бумаге печатными буквами свое имя. Но сколько преград надо было еще преодолеть, чтобы правильно читать и писать!

А когда грамоту все-таки преодолел, все на селе ужаснулись. Особенно старухи.

— Вот он, оборотень! — указывали на меня пальцами. — С чертом спознался... поумнел...

И, озираясь по сторонам, спрашивали меня с тоской:

— Так это правда — читаешь, пишешь?

— Да.

— Самоучкой? Без учителя?

— Без учителя.

Старухи, крестясь, отплевывались:

— Не иначе — колдун. Пропал малый, черту продался!

...Отец был на заработках, мать — на поденщине. Братишки — в батраках, у чужих людей, как и я. И, навещая меня, твердила мне матушка:

— Не верь старухам. Ученье — свет, неученье — тьма.

А старухи знай свое:

— Ум-забияка — от дьявола... Стал-быть, ученье — тьма, а неученье — свет... Ну, псалтырь аль евангелие — еще туды-сюды, это можно. А за чернокнижие так проучить надо, чтоб разом вышел в толк.

— Я вам выйду в толк, старые чертовки! — огрызался я.

## 4. МОЯ МЕСТЬ

То же, что и старухи, сказал мне и крючконос: счастье мое будто бы в том, что я не постиг грамоту. Оттого, дескать, и шкура моя «не порублена в куски». А зачем же сам он читает газеты и книги? И почему за это с него не сдирают кабанью его шкуру? Ясно: жулики любят только свою грамоту, а чужую как чуму ненавидят.

Вновь и вновь налег я на книжки, нигде с ними не расставался. Как-то писариха Марья, раскрасавица сердцеедка, встретила меня на околице с книжкой в руках. Подошла вплотную, шепнула украдкой:

— Молодчина... Приходи на заре в рожь... Помогу... Буду ждать!..

А на заре мне нужно было пахать пар у Шугуренка. Пришлось обхаживать Мануху, чтоб сквозь ночь послал тот развозить почту по селам. Мануха снизошел. Повез я почту с вечера.

Лунной летней ночью тащусь с почтовой сумкой по проселочной, через росную рожь, на коняке Акимке верхом. Дремлю.

Чую: знакомые голоса. Всматриваюсь в лунный сумрак — ба! это писариха с крючконосом урядником! Ни свет ни заря пробрались сюда любовь крутить. Ну и дела!..

Дурак я: думал, и впрямь будет мне помогать на заре грамотой писариха. А у ней, оказывается, своя на уме «грамота».

Кружу тут по житу. Вблизи ржет лошадь, зовет моего Акимку в гости. Это на меже урядников конь, запряженный в дрожки. На дрожках — плащ, портфель, кобур с револьвером, шашка... Хватаю на скаку кобур. Палю из револьвера в воздух. Забрасываю потом револьвер далеко в рожь. Скачу во весь дух — ищи ветра в поле!

Через некоторое время мне вслед, точно эхо, неслось крючконосово:

— Бунт!.. Застрелю!..

А стрелять-то ему не из чего было!

Из-за старой ненависти, что ли, иль из-за ревности,

не знаю (писариха, признаться, нравилась мне), я тут же поклялся отомстить Картузову:

— Насолю гаду, а после — хоть смерть!

В ту же ночь, перед рассветом, завернул нарочно к Никитичу за листовками. Тот и не думал их сжигать. Напротив, берег пуще зеницы ока, так как приговор крючконоса мы молчаливо презрели...

— Давай, Никитич, листовки!

— Для чего, собственно говоря?

— Все до единой разбросаю!

— Да ведь это с толком надо, осторожненько.

— Знаю.

Никитич прослезился, поцеловал меня в вихры.

— Коли так — бери. С богом!

И вот по всем перекресткам дорог, по хуторам, по селам закружились, зашумели залетными ястребами листовки-призывы, отпечатанные на красной бумаге — вестники грядущих бурь.

— Когтите гадов! — приговаривал я, выпуская из рукавов листки.

Земляки с жадностью подхватывали их. Читали друг другу вслух, по складам. Там черным по красному горело:

— Долой самодержавие!..

— Да здравствует революция!

— Жгите помещичьи усадьбы!

— Товарищи крестьяне! Забирайте землю в свои руки! Ваша власть, ваша воля!

## 5. ТРОЙКА БОРЗЫХ

Никитич рассказывал мне потом: в первом рыльском повете тотчас после листовок всполошилось, обалдело начальство, в норы позаползло.

Предводитель Васьянов засел в лесной усадьбе-берлоге в селе Петровском и отводил там душу за пчелами и винокурением...

Из Рыльска исправник Зарин да становые гнали по повету приказы насчет «баламутов»-революционеров, а сами пьянствовали в трактире купца Каменева.

Урядник Картузов мгновенно удрал на Кавказ — залечивать турецкие раны, полученные, как он уверял, под Плевной, а скорее всего — в своем стане, в публичной драке.

Земцы поочередно сажали друг друга в каталажки за крамолу. В крамоле заподозрили даже самого судью Корсакова. И тот скрылся в соседний повет, в свою вотчину, которую, не долго думая, и промотал в пьяном угаре.

Последний «столп общества» — протопоп и настоятель городского собора — рыжегривый отец Гаврила с утра до вечера гонялся за ускользающей властью. Требовал себе особых поручений от губернатора. А власть по усам текла, но в рот протопопу не попадала. Мешал во всем Гавриле, обламывал протопопу рога предводитель Васьянов. И хотя уличные торговки кричали: «Грудью постоим за отца Гаврилу! .. Плечом поддержим!» — никто за него не постоял ни грудью, ни плечом. Церквей в Рыльске было около двенадцати, а попов и того больше.

Гаврила заправлял городским общественным банком и заодно был благочинным и наблюдателем-попечителем церковно-приходских школ, командовал попами и прихожанами, слыл неуемным самодуром. И сразу потерял все свои посты. Даже звания настоятеля собора лишился. В одночасье! Дело в том, что о протопоповском самодурстве чирикали уже воробьи на заборах. Вот почему предводитель Васьянов потребовал от архиерея отставки благочинного. Заступился было за него коннозаводчик Щекин. Но это не помогло.

Отставной протопоп, оказавшись не у дел, примирился с потерей постов, но продолжал исподволь охотиться за властью. Он точил зубы на Васьянова.

Про этого Васьянова мужики говорили так:

— Оно, конешно, Васьян — круглый как обруч...

— А все ж держит за нас руку.

— Лицо у него бело как мука.

— Шея — тож как у быка.

— А все ж он за нашего брата, за мужика!

И когда базарные торговки поносили Васьянова

из-за протопопа, а превозносили Щекина, мужики возражали невозмутимо:

— Нам Васьян — подходящий, за правду постоит. Далеко до него Щекину-пустобреху. А о протопопе давно плачет веревка.

Щекин — лошадиный любитель и ненавистник мужиков — тягался с Васьяновым и даже коршуном налетал на него при всяком удобном и неудобном случае. Лез сам в предводители. И не пролез. Прокатили его на вороных. Тогда, обескураженный, он опять ухватился за коннозаводский промысел да продолжал травить мужиков... И вскоре от чрезмерного пития богу душу отдал.

Васьянов тоже занимался не ахти каким благородным промыслом — винокурением. Но все ж продолжал «держать руку» за мужиков: одергивал земских начальников, когда те гнали хлеборобов «на отруба», заступался за сельских учителей, преследуемых старшинами, урядниками и приставами. Этих приставов, вообще всех полицейских надзирателей Васьянов убирал прочь со своих глаз.

Исправника Зарина, любителя литературы и театрального искусства, дикого солдафона, который за усмирение строптивых при «аграрных волнениях» получил будто бы «высочайшую» благодарность от самого Николашки, — Васьянов не переваривал. И говорил:

— Самое лучшее начальство то, которое меньше всего напоминает о себе населению. Мы не азиаты, а европейцы. А этот Зарин — вроде башибузука. Надо его вытурить! Перевести, скажем, на Север...

Но Зарина все же никуда не перевели. Он попрежнему торчал исправником в Рыльске.

С Гаврилой у Васьянова борьба тоже осложнилась. Протопоп громил с амвона крамольников-свободолюбцев, обзывал Васьянова кадетом и «франкмасоном» и обещал, при случае, избить предводителя пастырским посохом «за измену родине».

Когда приятели передавали об этом Васьянову, тот презрительно сплевывал:

— Собака лает, ветер носит...

Такое поношение окончательно взорвало протопопа Гаврилу. И чтобы раз и навсегда отомстить предводителю, он запряг ломового коня в свой парадный тарантас и поехал в Васьяновскую вотчину, в село Петровское бить франкмасона «пастырским» своим посохом.

На узкой проселочной дороге вдруг увидел он: навстречу мчится тройка рысаков, запряженных в фаэтон, а в фаэтоне — сам предводитель.

— Сворачивай с дороги, долгогривый!.. — кричит на протопопа Васьянов.

— Не сверну! — упрямится протопоп.

— Сворачивай!

— Не сверну!

— Откушаешь плетки! — рычит Васьянов.

— Отведаешь посоха! — рявкает протопоп.

Но вот, не успел Гаврила оглянуться, как слышит: свистит над его головой плетка, полосует протопоповскую рясу на плечах. Из глаз у Гаврилы искры посыпались. Пастырский посох полетел под тарантас!

Коня-ломовика с тарантасом и иссеченным протопопом васьяновский кучер сковырнул с дороги, тройка понеслась дальше.

Долго судились потом протопоп с предводителем. И неизвестно, чем у них все это кончилось.

Как же чувствовал себя в ту пору Шугуренок?

Он, как говорится, и в ус не дул. Скупал земли, леса, поставлял скот в Москву, строил мельницы, маслобойки, по целым месяцам пропадал в вояжах. В Амони почти не жил. Старшинствовала за него писариха Марья.

Лет двадцать назад привез Шугуренка сюда из Москвы пасынком-приданцем с матерью-кухаркой отставной солдат. Приданец вырос, женился на мещанке, въелся в торговлю. Пошел в гору. Через год-другой попал в старшины и гласные земства, прогремел богачом. Барыньки липли уже к нему, как мухи, из-за денег. С одной из таких — с женой земского Анисимова, старика генерала, Шугуренок и закрутил роман.

У этого генерала-самодура письмоводительствовал мальчишка-воспитаннец из подкидышей — Алешка Горчаков — остромордый, длинноносый бумагоед. Со-

бачьим каким-то нюхом постиг шестнадцатилетний Алешка шемякину премудрость полицейщины. Выучил наизусть «уложения», да и воссел у зерцала вместе со своим генералом творить суд и расправу над поветом. Брал взятки с живого и с мертвого. В губернии знали: правит поветом, приговоры выносит, приказы подписывает вместо земского генерала Анисимова пройдоха Алешка, то есть подделывает подпись земского. Но молчали: ворон ворону глаз не выклюет.

Алешка — тоже «столп»!

«Столпы» подгнили и повалились. А тройка борзых — подкидыш Алешка, проходимец Шугуренок, писариха Марья, — закусив удила, понеслась в гору...

Остановить борзую тройку было некому.

## 6. НАЛЕТЕЛА КУКУШКА НА КОРШУНА...

Осадил «тройку» мой отец. Дело это было почти на моих глазах.

Отца, как безземельного, гнал старшина из родного села. Безземельные, так называемые «дворовые», будто бы не имели права на выгон для коровы и на проход. За все — штраф. И самому отцу заказано было ходить по выгону, а только разрешалось передвигаться по улице, по земской дороге да по государственному шляху. От штрафов у отца шея трещала. Но в огне жизни выковал отец бесстрашие перед жизнью. Наплевал он на запреты и ходил где вздумается. Старшина грозил ему за это высылкой в Сибирь.

За отца горой стояли земляки. Тогда не было ночи, чтобы к нему не приходили на огонек в землянку соседи. Здесь узнавали они о жизни рабочих в городах, об артелях, о стачках, о дальних новых странах. Никому не давали «новые страны» покоя. Отец рассказывал о каком-то легендарном Владивостоке: там, мол, окрест счастливая земля с дикими, нетронутыми чащами, с невиданным пушным зверем, с вечным праздднеством солнца, там — ни податей, ни жуликов, ни начальства...

И земляки рвались «на Владивосток» — пересе-

ляться. Но денег на дорогу ни у кого не было. Мечты переселенцев оставались мечтами. От осточертевшего начальства никому никуда, знать, не уйти.

На нашу семью из-за вольных бесед и листовок летели доносы с нарочными в город. Шугуренок так и охотился за отцом, ждал только удобного случая, чтоб свести с ним счеты, но сам попался в капкан.

Шла земельная горячка. Шугуренок с Алешкой Горчаковым и писарихой открыл нечто вроде ссудной кассы по покупке земли. «Механика» была такая: сколачивалось товарищество землеробов, под чье обязательство брались деньги в казенном «позземельном крестьянском» банке на покупку земли у помещика. К казенным деньгам Шугуренок прибавлял часть своих, обделывал купчую для товарищества, в котором сам же закулисно и верховодствовал. А в залог за купчую брал себе урожай с купленной земли. Выходило, что землю покупали на казенные деньги как будто хлеборобы, а пользовались урожаем посредники-спекулянты — Шугуренок с Алешкой. Это был куртаж «за хлопоты». Бородачи-пахари работали задаром, в утешении, что когда-нибудь, этак лет через двадцать, у них будет окупленная «вешность» — земля в вечном наследственном владении. Но окупать землю, то есть платить деньги в банк за хлеборобов, спекулянты и не собирались.

Время истекало, ссуда не погашалась. Из губернии налетали стаей воронов банковские чиновники с судебными приставами. На деревне стон стоял от казенного грабежа... У мужиков-«неплательщиков» чинуши отбирали мелкий скот, птицу, самовары, горшки, ложки, бабьи перины, ухваты. А Шугуренок тут же продавал все с молотка.

Тогда, среди общего онемелого воя, выступил мой отец перед набольшим с гневным вопросом:

— А вы, господин, из русских будете или из басурманов?

Остолбенел набольший. Дико попятился от отца. Шугуренок тут зашипел змеино:

— А-а-а! Крамольник! Тебя-то мне и надо!

— Нет, мне тебя надо! — вскричал на старшину

отец. — Дошел! Снимай медаль: тебе в Сибири место, костоглот, каторжник!

Набóльший прервал отца грозно:

— В чем дело, старик? Говори толком!

— Да в том, что старшина — грабитель, мошенник. Задарма забирает у мужиков весь урожай. А теперь вот продает ихний скарб с молотка.

— Как так забирает урожай?

— А так: мужики сеют, а он забирает хлеб к себе на гумно.

— Не может этого быть! Куда же смотрит здешнее начальство?

— Есть Алешка Горчаков, письмоводитель земского, да писариха Марья. Так они в доле с жуликом старшиной.

Все закричали сразу, вдруг. Мужики, бабы, с воем, тыча в старшину кулаками, подтвердили перед набóльшим торжественно:

— Истинно, это грабитель наш!.. Кровосос!.. Забирает хлеб за хлопоты, задарма.

Тогда набóльший, рассвирепев на старшину, без слов, властным жестом снял с него медаль.

Торги остановились. Старшину стражники повели в каталажку. Чинуши разъехались. Но проданный скарб мужичкам так и не вернули.

Стражники, возвратясь из города, подбадривали друг друга:

— Налетела кукушка на коршуна! Шугуру мы отвели, да где это видано, чтоб богатея засудил бедняк-баламут? Выкрутится Шугур...

Когда от сраму все-таки выслали Шугуренка (черт ли в нем!) в Иркутск, земляки приветствовали отца скопом так:

— Молодец Родионыч! Сшиб коршуна Шугуренка-то!.. Обобрал он нас...

— Сколько их, этих коршунов, осталось еще?! — сокрушался отец. — Но главное дело в другой птице...

— В какой?

— Удивительная птица — торчит на деньгах, на вывесках, на всех предметах.. Когтит всех...

— Орел?.. Двуглавый?

— Он самый. . .

— Вот эту птицу да сшибить бы!

— Дайте срок, сшибем! — заключал отец.

Скандал обескуражил все губернское присутствие. Пошла перешерстка меж заправил-жуликов. Из губернии нагрянул председатель казенной палаты Лесняк — ревизовать повет.

Алешка Горчаков за день до ревизии сжег камеру генерала-земского со всеми делами. Ночью, сбежав на станцию, махнул с курьерским на Киев.

В Печерской лавре, у монахов, и словили его по телеграмме Лесняка.

Самого генерала Анисимова хватил кондрашка.

Только Марья плевала на все. Укатила она к Шугуренку в Иркутск, где и открыла шинок, как писал потом в Амонь своим друзьям тот же Шугуренок.

## 7. О МУДРОСТИ ЖИЗНИ

Моей школой была степь.

Я буквально дрожал как в лихорадке, завидев светлую степную даль. Готов был идти на что угодно, чтобы так или иначе вырваться на степной простор, хоть на миг, подумать там, помечтать.

Книг, разумеется, негде было достать. Как голодный ищет кусок хлеба, так я искал какую-нибудь газетенку, какой-либо журналишко.

Отдаленные зарницы бороздили горизонт зловеще-радостными вспышками. Грянула русско-японская война. В деревню начали проникать газеты. А заодно — и подпольные листовки. И теми и другими я с жадностью зачитывался.

— Попомни мое слово, доживем мы до революции, — вещал Никитич.

И с грустью говорил:

— Мне-то она мало даст. . . нервы. . . а вот тебе — даст. Да! Будешь человеком — попомни мое слово. Большая дорога перед тобой! Попадешь в город, — знай читай. . . собственно говоря, учись, у себя самого учись. У тебя есть дар. . . схватывать мыслишку на лету!

Родился ты, сорванец, с гвоздем в голове. Ни на кого не надейся, кроме как на себя... Ох, эти нервы!..

В город двинулась тогда деревня. Почти половина населения из соседних деревень перебралась в город на заработки. Остальные тоже мечтали переселиться туда же.

А я торчал в своей дыре...

Захожу как-то к Никитичу в крохотную его каморку-аптечку, где, кроме койки у стены и шкафчика с лекарственными пузырьками да стопки книжек на подоконнике с засушенными цветами, ничего нет, захожу и спрашиваю:

— Где лучше жить, Никитич, в городе или в деревне?

Никитич, перебирая пузырьки в шкафчике, отвечает торжественно:

— Прежде всего надо пройти школу жизни.

— А что это за школа? Я никакой школы не проходил.

— Вот это и плохо, что не проходил. И ты не думай, будто школа жизни — это некое учебное заведение, взошел в него, и начали тебя там учить всяким премудростям. Нет, брат, это не так... Сам одевайся, сам себя корми и сам учись!.. Как я учился... В солдаты попал, а учился! Там и на фельдшера экзамен выдержал.

— Это, значит, было в городе?

— Ну, в городе. Город ныне — главная школа жизни, движет ее вперед. Все даровитое в город тянется.

— А почему ты в деревне, в каморке?

Почесал Никитич переносицу, задумался.

— Земство направило меня в Амонь за нехваткой ученых докторов. Но все равно убегу, вырвусь отсюда.

Я тоже тянулся в город, да оставался по своей вине за сохой. Неудачник я, недотепа... Не зацепился с самого детства за город, скажем, за Царицын, когда меня устраивал там дядька Петро «мальчиком» в трактире. А теперь отдаю скудный свой заработок родным. Сам голодаю, но на выручку бедных моих родных бросаюсь очертя голову, шею гну, ребер не жалею.

Никитич, похлопывая меня по плечу, поучал:

— Вот в том и мудрость жизни, чтоб не богатеи мяли тебе шею, а чтоб ты сам гнул их в бараний рог. А для того необходима революция. Понял? Но, брат, и после революции придется работать... И больше, чем нынче! Зато — на себя! Вся власть будет в руках народа... Однако ж драки не избежать, — предупреждающе заметил он.

## 8. ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Новость: за Клевенью, за Сеймом — по украинским помещичьим усадьбам — вслед за «золотыми грамотками» пошел гулять «красный петух». Кричал, пел этот петух по ночам об одном — о земле и воле. Бедняки хлеборобы спали и во сне видели, как царь, разбуженный «красным петухом», наделял их даровой землей. Без выкупа, без оброков: чтоб, дескать, каждый пахарь был «сам себе хозяин». Конец ярму!.. Начальство ловило «злоумышленников», законопачивало их в каталажки. Тщетно! Страсти разгорались. Кое-где поджигали уже барские угодья, портили скотину.

В поисках каких-то «столичных поджигателей» с ног сбились стражники. Поймать никого не поймали, но до белого каления мужиков довели.

...В одном из сел, в соседней Черниговщине, в ярмарочный день толпа разгромила каталажку и разогнала начальство. С ярмарки тысячи мужицких подвод двинули, щетинясь дрекольем, на осиные гнезда богатеев. За одну только ночь разнесли до двадцати усадеб. В дым! Земля встала дыбом...

А после — расправа. Дошло «это» и до моей головушки. Принялись меня искать-ловить: «Где тот пащенок пунктовщик, что с Туляком путался? Куда удрал? Подать его сюда!»

И вот дядька Андрей, ночью отыскав меня в коноплях, увел за пятьдесят верст от нас — в село Коренево, к какому-то своему давнему знакомому сапожнику.

Так попал я в Коренево — село возле узловой же-

лезнодорожной станции. В соседстве — село Благодатное. Воткнулся я в артель сапожников, богомазов и... подпольщиков. Из огня да в полымя!.. Хозяева у меня были Кулеш и Григорович.

Кулеш — кузнец, силища и страсть, у него — огонь ненависти, насмешки и вызова в дерзких глазах, молодецкая удаль. Пострадал за правду. «Улизнул» от волчьего билета. Брит. Черные усы, точно у Бовы-королевича. Курит только тютюн.

— Чтоб слаще было плевать на всех царских собак! — говорит.

Григорович — весь благородство, да и происходил он из старой, «древней аристократии», по его словам. Глух как стена. И согбен, хоть породистое лицо, олученное седой гривой, орлиный взгляд, ярко-ослепительные зубы, несмотря, что долгие годы за спиной. Штабс-капитан в отставке. Пьет запоем.

Шла война с Японией, и начиналась война с барами-жмотами. Весна девятьсот четвертого — весна гроз и бурь. В ту весну и очутился я у этих «сапожников».

— Попался? — вопрошает меня вкрадчиво штабс-капитан. — Мне не отвечай, ничего не слышу. Ежели б поменьше слышали люди, лучше было б... Андрея, дядю твоего, старика, знаю по Одессе. Давно дело было — шил он мне там сапоги. А теперь сам вот шью. Его уважу — уберегу тебя, молокосос. У меня один такой спасается... (кивок на Кулеша), питерский... Рыскают за ним, а он у меня как у Христа за пазухой... Кулеш-то... Может, он вовсе не Кулеш, а так... мутная похлебка, — бормочет Григорович. — Но все равно! Я от политики далек. Люблю просто так... гонимых пригревать. Аристократ духа!

— Заткнись! — грозится Кулеш.

— Я — штабс-капитан лейб-гвардии Кексгольмского бессмертного полка... А ты — несчастный унтеришка.

— Ну, капитан, хлебай горячего Кулеша!

Схватка. Григорович повергнут на обе лопатки. Превосходство свое приходится ему доказывать только

рассказами о славном былом, лежа под противником — Кулешом.

Кулеш хохочет. Григорович рассказывает.

Я слушаю благоговейно.

* * *

Да! .. В юности капитан, если верить ему, славился знатностью, красотой, богатством. Женщины с ума сходили от него, травились. Учился он в Питере, в Пажеском, с князьями. Князишка Барятинский покойник — его друг (под его началом капитан завоевывал Кавказ), отбил у него любовницу — юную черкешенку. Ее кто-то убил за измену, но обвинили в убийстве капитана. Дело ограничилось только «вылетом» из полка, «без мундира и пенсии». Капитан, возвратясь с Кавказа и просадив в гульбе свою вотчину, женился на дочке торговца. Тут и застрял. Собрал артель сапожников-прощелыг, промышляет теперь сапожным ремеслом... А ведь... «были когда-то и мы рысаками».

— Подымайся, кляча! — грохочет над ним Кулеш.

— Записку! — шепотом уже скулит капитан.

Кулеш пишет карандашом записку. Там — коротко:

— Мир, кляча!

— Мир, друг! — ликует капитан подымаясь. — Стоп! Смирно! .. Слушайте команду! ..

...Так «командует» нами этот старик. А я у него денщик: ношу воду, колю дрова, бегаю за водкой, пеку хлеб, готовлю обед, подметаю хату и, между прочим, учусь сапожному ремеслу.

Старуха капитанша выжила из ума. Единственно, на что она еще способна, это бить своего «губителя» капитана костылем. Часто я разнимал их, за что они на меня потом и набрасывались.

* * *

Дома сапожничали вечерами. Когда не было работы, бродили весь день по поселку, под окнами домишек чинили сапоги, паяли ведра, подновляли богов. Богомаз — обязанность капитана, его «специальность». Заворачивали, как бы мимоходом, в село Бла-

годатное. У Кулеша там среди батраков и рабочих-пенькотрепальщиков были свои знакомые. Он их изредка навещал. Чаще всего собирались они у него. Кулеш говорил горячо:

— Революция — факт! Надо выбрать момент для последнего боя. Такой момент — возвращение солдат с войны. Война кончена, революция началась.

Засиживались иногда до рассвета. А на рассвете, проводив рабочих, Кулеш брал старый сапог, садился на крылечке, принимался с остервенением гвоздить. Над крылечком красовалась вывеска, состряпанная капитаном: «Чиним и шьем сапоги, ведра, иконы, часовых дел мастера из Петербурга». Никому и в голову не приходило, что под этой вывеской живет питерский рабочий-революционер и что «аристократ духа» Григорович служит для него удобной ширмой.

Нередко Кулеш ездил по ближайшим станциям: на складах, дескать, надо закупать материал для мастерской, заготавливать приклад. А сам помогал распространять листовки. Он был связан с кружком железнодорожных рабочих и по их поручению развозил прокламации.

Но как ни старался Кулеш глубже плавать, а попал на крючок.

Как-то вечером заявился в мастерскую «заказчик» — щупленький востроносый черныш в синих очках. Вошел и вдруг выпалил вкрадчивым, но повелительным голосом:

— Ваши документы!

Сразу понял тут Кулеш, что это подосланный провокатор.

— Вы кто? — как бы не понимая, спросил Кулеш. — Дальний или здесь живете?

— Это неважно. Документы! .. Имею полномочия. . .

— Вы, случайно, не одессит?

— Ну, одессит. Что вы этим хотите сказать?

Кулеш облегченно вздохнул:

— То, что мы поймем друг друга. Сейчас я вам расскажу все. Слушайте внимательно. Каца-старика, одесского богача, знаете?

— Слыхал, ну?

— Я — его побочный сын.

Черныш сделал большие глаза.

— Да, да, не удивляйтесь, земляк. Вот как дело было...

И Кулеш с места в карьер, не давая ни себе, ни пришельцу передышки, начал сочинять небылицу про свою «злосчастную долю еврейского сироты».

Начиналось дело почему-то с Петербурга. Туда попадал Кулеш переплетчиком. Но так как он сирота-еврей, то работы ему не находилось, хоть и горел он желанием послужить «русскому переплетному искусству, а также литературе». Безработица грозила высылкой за черту оседлости. Пришлось посвятить себя искусству сапожному. А сапогами разве много заработаешь? От скуки запил, познакомился с матросами, удрал в Кронштадт. Там пристроился на морском пароходе.

Долго ль, коротко ль — и Гамбург. Встретился там случайно с богатым коммерсантом. Нанялся ему в слуги. Скоро оба отправились в Берлин и Париж, в Ниццу, в Рим, в Лондон. Галопом по Европам! А оттуда — в Нью-Йорк. По дороге пичкал коммерсант Кулеша премудростями талмуда. А в Америке взял да и выгнал его от себя, хоть паренек и знал талмуд... Снова — пароходный трюм, океан, кочегарка... Константинополь... Оттуда до Одессы рукой подать. Родная Одесса! Все.

— Родная Одесса! — тяжело вздохнул черныш. — Итак, вы действительно одессит?

— Чистокровный! — с достоинством подтвердил Кулеш.

— Теперь я вас... понимаю! Так я вам скажу: жизнь есть война. Если вы, как говорите, изучили талмуд, то... должны припомнить одно мудрое изречение: «Ты идешь на войну? Возьми там прекраснейшую из женщин».

— И я ее взял: племянницу князя Барятинского.

— А как же... князь? Не протестовал?

— Барятинский?.. Умер. А наследники его — шантрапа. Не желаю с ними дела иметь. Один капитан —

друг покойного князя... и мой... Притом — глухая тетеря.

И тут же — записка капитану-глухарю: «Расскажи про Одессу».

— Одесса? — растягивая, мямлит Григорович, прочитав записку. — Родной мой город... Двадцать лет прожил там... Милый юг...

— И вы — одессит, капитан? — радостно вскрикивает черныш.

Капитан молчит. Как бы за него и за себя отвечаю я:

— И мой отец плотничает в Одессе!

Черныш уходит.

## 9. НА ЗАРЕ ПЕЧАЛЬНОЙ ЮНОСТИ...

Старуха капитанша убралась в Киев на богомолье. Дома без нее мы жили вольными казаками.

Я тачал сапоги, кухарничал. А капитан, вспомнив молодость, былые дни любви, вдруг вытребовал к себе, во флигель, Польку Шумарку, непреодолимую, пышнотелую любовь... Он бредил ею, но приблизиться к ней не смел.

Расположилась Полька торговать крынками молока против нашего крылечка. Повела на окно капитаново крутой черной бровью, но в мастерскую не заглянула. Кулеш прошел мимо — и она не удержалась, подмигнула черноусому кавалеру.

С первого же шага между Кулешом и капитаном завязалась — я это видел — молчаливая борьба за Польку. Полька закружила их точно водоворот.

Капитан грустил. Дело в том, что вытребовать-то Польку он вытребовал, а пришла она не к нему, а к Кулешу. Рвал и метал капитан.

— Ну вот, теперь я понимаю, что старому миру пришел конец, — бормотал он.

Однажды утром слышим: на железнодорожной станции гудки паровозные. Тревога! Лязг буферов, крики...

Мчимся с Кулешом на платформу. На путях — ка-

вардак. У тупика еще дымится опрокинутый паровоз. Бегут рабочие, машут руками, сзывают друг друга в депо, на митинг.

Поезда стали. Забастовка.

Кулеш недолго думая проник в депо, на митинг.

Митинговали до вечера. Разошлись, только выставив караулы. Через несколько дней прошел слух, будто откуда-то движутся казаки. Ночи без сна, далекие пожары помещичьих усадеб...

В это время отыскал меня в Кореневе отец.

— Ты что тут баклуши бьешь?

— Я не баклуши бью, а сапожничаю. И вообще... революция!

— А одевать тебя кто будет? Зима на носу, а ты, вишь, гол как сокол. И я потерял работу. Где твой хозяин?

«Хозяин» Кулеш, на вопрос отца о плате за мою работу, внушительно сказал:

— Он свое получит. Революция оплатит ему сполна.

Отец, махнув рукой, ушел ни с чем.

Через неделю нагрянули казаки с пулеметами и орудиями. Биться с ними нечем. А от облав спастись можно было только бегством, и мы навострили лыжи кто куда.

Прощаясь с рабочими, заклинал Кулеш:

— Не давайтесь в руки врагов! Ждите нового сигнала!

Сам он двинул тогда же на Петербург.

В то время, после долгих лет батрачества и скитаний, вернулся в родные края мой брат Родион. Было ему уже двадцать три года. Устроился он на Шостинский пороховой завод. В окрестных селах собирал крестьян, раскрывал им глаза на правду. Как потом я узнал, был он членом Курской организации социал-демократов. Ну, его, конечно, в первую очередь стражники и законопатили в тюрьму, по доносу провокаторов.

Я же прятался по кустарникам, по оврагам... Голод и бессонница мучила меня. Горел я словно свеча, зажженная с двух концов. Но прибой новых сил, новых надежд неукротимо бушевал теперь во мне.

Зимой по ночам устраивались на нас, беглых, облавы. Верховые рыскали из села в село. С вечера я уходил, под вой вьюги, в степь. Там, разгребя снег, забирался под омет соломы, изъеденной мышами. К утру вырастал надо мной омет снега. И тогда я выкарабкивался на свет божий.

Холод и голод были моими спутниками на заре печальной юности. Но занималась уже тогда предо мной и другая заря — воля!

## 10. В ТЮРЬМЕ

Как я ни путал следы, словили стражники и меня. Уже отходила зима в последних вьюгах, в голодном волчьем вое. Шла весна. Под голубой шум цвели сады. В белых яблонях, облепленных хлопьями лепестков, качалось солнце, пьяное от любви к земле.

Меня и брата Родиона томили в остроге, в Рыльске. Сидели мы в подвальных темных одиночках. А когда в огненный полдень, закованных в кандалы, выпускали нас на середину тюремного двора, мы кружились как слепые, так больно было глазам, привыкшим к темноте. Многим из здешних узников грозила каторга, быть может, смерть.

Судьба не щадила Родиона. В детстве, когда он батрачил в селе Поповке у хозяина-табунщика, его стоптал на пастбище конь. Прочили в мертвецы, выжил чудом. В Поповке же две зимы проучился в сельской школе, куда ходил почти босым, в мороз, в лютую стужу. Нищета заставила оставить школу, уйти от хозяина-табунщика за «настоящим заработком».

Помню в ту пору Родиона сидящим за книжкой, за какими-то опытами со свечой и бутылкой. Он был старше меня на восемь лет. После, узнав о южных странах, пробрался туда, работал на стройках. Обошел Кавказ, Крым, Бессарабию, нигде не расставаясь с инструментом и книгой. Возвратясь с юга, попал на Шостинский пороховой завод. Тут и влип.

В тюрьме Родион не сдавался. Раскрывал полу-

ослепшие, но таящие неведомый свет глаза, гремел цепью:

— Мы будем мстить!

Раз на прогулке подступил к «мусорщикам» — уголовным:

— Саданем, землячки, в ворота, а? Время проснуться!

— Го-го-го! .. — зашумели они в ответ. — А сам-то ты проснулся? В браслетах!

Гневно бросил им брат:

— Потому-то я и зову!

— Потише, а то позову! — оборвал красномордый тюремщик. — Наручники надели ироду... в темную законопатили... он все свое. Сладь вот с такими! ..

И, как бы дразня, заключил строго:

— Придется прогулки прекратить жуликам... Тут еще один есть такой — из господ, забияка! Нынче какая-то вертихвостка к ним заявилась. Я, говорит, невеста...

— Молчать! — кинулся на него Родион. — Через тебя-то и в темную нас перевели!

— Что?! Бунт! — взревел красномордый дико. — По местам!

И погнал со двора, раньше срока прекратил прогулку.

Тюрьма была старая, заплесневелая и облупленная, сложенная из гранита, с чугунными лестницами и дверями, с железными прутьями решеток толщиной в руку. Из окна в конце коридора при проходе на третий этаж в церковь, куда нас гоняли из подвала по воскресеньям, можно было видеть, как в выжженном солнцем овраге хищно таилась на углу стены башня-бойница. Острог зарился острыми клыками выщербленной ограды на дальний синий лес, на глухой, древний город, на реку. Будто боялся простора и солнца.

Неведомые друзья узники выстукивали нам в стены: «С нами день! .. Привет!»

Звуки эти звенели в груди стрелами солнца.

Вскоре в один из казематов перевели из верхней камеры студента-поэта Леонида Семенова, объявили

его «буйным» за песни, которые он неизменно запевал в полный голос, пренебрегая издевательствами и угрозами тюремщиков.

За ним почти вся тюрьма подымалась на дыбы. Знала: все отдал поэт, а взамен взял одни муки. Судьба бросила когда-то к его ногам знатность, славу, счастье. Дед его, некогда участник «великих реформ», потом исследователь Центральной Азии, Семенов-Тянь-Шанський, души не чаял в любимом внуке-поэте. Газеты кричали о Леониде Семенове по поводу выхода его книги стихов и драмы «Около тайны» как о новом Лермонтове. Прекраснейшие из женщин дарили ему свои улыбки. Но презрел юноша-поэт славу, знатность и свой «круг» — круг угнетателей. С отрочества сроднился с тружениками. Так и работал с ними — то в деревне, то в городе. Учил их мудрости жизни. Звал к борьбе за правду, за свет и свободу, за новый мир.

А получил — избиения, болезни, живую смерть...

Теперь его так и называли: живой мертвец.

Все это я узнал от Родиона. И еще узнал я: в Елани, на Черниговщине, где плотничал, отлучаясь с завода, брат, выпустил поэт-бунтарь оттиснутый на ручном станке собственный манифест такого содержания:

«Милостью правды мы, Леонид Семенов, поэт, избранник и друг тружеников и великой обители слова обладатель и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всем нашим братьям-труженикам: отныне вся земля — помещичья, удельная, церковная, монастырская, со всеми угодьями — ваша. Возделывайте эту землю, выращивайте хлебные злаки, насаждайте сады, украшайте цветами жизнь. Да изобилует земля в ваших мозолевых руках невиданными плодами».

С манифестом поэта, вставленным в зерцало и водруженным на шесте точно стяг, двинулись плугари с первым весенним теплом на барские поля. В первую голову — на заповедники дедовские, помещичьи. Поэт сам шел впереди всех, за головным плугом. Загоны сановников пахали миром целый день. Соседние хозяева-помещики с перепугу бежали в Глухов, в Новгород-Северск, в Рыльск, в Севск, куда нелегкая вынесет.

Когда под вечер нагрянула орда стражников — загоны были уже вспаханы. В стычке безоружных плутарей смяла орда. «Зачинщиков» перепороли. Поэта-водителя, схватив где-то в лесу, избили в кровь, потащили в Рыльск. Тащили и били, допытывались, кто соучастники. По дороге Леонид бежал. Опять схватили его, ввергли в острог.

Сказали:

— Хорошо будешь сидеть — вышлем в места не столь отдаленные. А плохо будешь сидеть, загоним в Туруханск! В могилу!

В первые дни о поэте в тюрьме не знал никто. Держали его на верхнем этаже в тюремном лазарете. Потом тайно перевели в одиночку номер три.

И вот как-то раз, в утро свиданий, пришла в тюрьму незнакомка. На ней было белое весеннее платье. Она передала книги, печенье, цветы со словами:

— Поэту Леониду Семенову в камеру номер три.

И ушла.

Тут вся тюрьма узнала, кто посажен в третью камеру.

Назавтра все стучали друг другу в стены, в потолки и в полы, вплоть до камеры номер три:

«Привет поэту-борцу!»

И он, воспрянув, отвечал из каземата восторженным стуком:

«Да здравствуют борьба и солнце! Привет!»

Озадаченное начальство после этого выдало книги и бумагу поэту. Но всё же прогулки ему были запрещены. Передавали: следствие велось прокурором военного суда, так как округ был объявлен на военном положении. Поэту, быть может, грозила виселица. Кучи телеграмм от родственников, от самого Семенова-Тянь-Шаньского — члена Государственного совета, летели из Питера в защиту поэта. И странно: даже костоломные заправилы Рыльска, начиная от предводителя Васьянова, кончая протопопом (новым Михаилом), ходатайствовали за «талантливого юношу-поэта» (об этом доходили слухи с воли).

В один из дней забушевала тюрьма сверху донизу:

— Жизнь Леониду Семенову! Или разнесем тюрьму!

Свирепели тюремщики. Стращали стрельбой. Тюрьма не унималась. В конце концов Леонид Семенов был выведен на прогулку в тюремный двор — знак, что ему «дарованы жизнь и снисхождение».

Прозвали его: «Ухарь — смерть живая — живой мертвец», потому что никто не был уверен вполне, что жизнь поэта спасена.

Дело в том, что, по «временным правилам» военного положения, «восстанцы, изменники родины, государственные преступники», захваченные на месте преступления с оружием в руках, судились военно-полевым судом и расстреливались в двадцать четыре часа после приговора.

Меж тем в карманах Леонида Семенова, при его задержании, нашли вместо оружия душеспасительные книжки стихов и драм, автором которых был сам «преступник».

— Писатель! — дивились усмирители. — Учитель, так сказать, жизни! Что нам с ним делать? .. Да еще, кажись, родственник члена Государственного совета? Неприятная история! .. Судить все-таки придется полевым судом.

Но так как главный военный судья — усмиритель рыльский, сатрап исправник Зарин, удостоенный «высочайшей» благодарности, — сам был в некотором роде причастен к литературе (переводил Бальзака и дружил с известным романистом Зариным — своим родственником), то каратель и «соблаговолил» освободить опального поэта от военно-полевого суда.

Материалы о «преступлении» Леонида Семенова исправник решил было направить в обычный окружной суд. Военный прокурор, однако, решение это опротестовал. Завязалась жаркая перепалка между исправником и военным прокурором, который настаивал на выполнении какого-то параграфа военно-судного устава.

А тем временем Леонид Семенов томился в одиночке.

Дошло до того, что каратель Зарин отправился с экстренным поездом в Петербург, чтоб «разрубить узел монаршею волею». Вкупе с Семеновым-Тянь-Шаньским Зарин добился высочайшего приема и ходатайствовал об облегчении участи «поэта-бунтаря». Царь будто бы только побарабанил пальцами по столу, а на ходатайство ответил полнейшим молчанием. «Рубить узлов» он, повидимому, не умел. И это уже считалось благоприятным признаком. Исправник вернулся из Питера победителем.

Все это рассказывал заключенным тюремный надзиратель Даркин уже после того, как эти узники помяли тюремщикам основательно бока, побили стекла в окнах тюрьмы и потребовали смягчить режим для поэта.

Участь Леонида Семенова «облегчилась».

Тогда же выпустили на прогулку и остальных «подвальников», в том числе и меня с братом.

Родион сразу — а я только потом — узнал в тщедушном длинноволосом студенте с нежным лицом, опушенным юношеской бородкой, Леонида Семенова. Поэт подошел к нам первым.

— А, товарищ Турской! — приветствовал он Родиона. — Жизнь продолжается! Все в порядке.

И устремил горящие глаза на меня:

— Брат?

— Да, — ответил я.

— Слыхал. Из Коренева?

— Да, там... сапожничал... у Кулеша... А вы и есть товарищ Леонид?

— Я и есть... И Кулеша знаю.

Неожиданно Родион перебил, кивнув назад:

— Тсс...

Сзади торчал красномордый Даркин. Огромное его ухо лезло вперед. Наша обмолвка насчет Коренева вызвала у надзирателя многозначительную усмешку. Поспешно мы разошлись. Тюремщики не сводили глаз с Леонида. Но уже боялись мстить внуку сановника. Теперь им это запрещено было начальством: телеграммы, выходит, подействовали.

— Так, говоришь, из Коренева? — вопрошал Даркин.

— А что?

— А то: слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.

Через неделю отправляли Леонида Семенова в Курск. По всему, ждала его там свобода. Радовались мы за Леонида двойной радостью: его свобода — залог нашего счастья, грезилось нам.

Перед рассветом уходил поэт на станцию. На прощанье бросил он в окна из-за ограды всем:

— До свиданья! Скоро пришлю вам новые боевые песни! Ждите освобождения!

Пробивались лучи солнца из мглы.

А я скорбел... Оттого, что уходил от нас друг и товарищ — творец песни. Здесь песня о свободе единственной была мне отрадой. С песней и все узники надеялись почему-то на освобождение, мечтали о смелых побегах, о подкопах, о перепиленных решетках...

— Дождемся ль свободы?

— Не дожидаться надо, а что-то предпринимать!

Как-то раз задумали убежать. Но как? Одни предлагали рыть подземный ход. Оказалось: лопат нет, да и долгая канитель копать. Другие рвались ломать печи, по знаку выбираться один за другим в дымовые трубы. Отклонили и этот способ, как слишком легкомысленный; кто-то из горячих голов посоветовал, как когда-то Родион, «садануть» во время прогулки в ворота. Но об этом уже состряпал красномордый, повидимому, против Родиона «дело»: ворота охранялись удвоенным нарядом тюремщиков.

Тут прошел слух о помощи с воли. Освободительницу узников, какую-то необыкновенную девушку «с глазами газели и ангельским голосом» измыслили... Сама она, дескать, из «аристократок», а помогает в побегах, хлопочет перед сатрапами за голытьбу. Тюремное начальство якобы побаивается «газели» из-за высоких ее связей в Питере. Ходил упорный слух, что таинственная незнакомка выручила уже Леонида Семенова. Быть может, и остальных выручит? ..

Одни на нее уповали, другие воспламенялись легендарным в здешнем краю Антоном Щербаком, неуловимым освободителем узников. Этот не одну тюрьму будто бы разбил, не одну сотню пленников освободил. Вот-вот нагрянет с отрядом удальцов на рыльский острог. Свобода близка...

Все же большинство узников надеялись на мирный исход — на хлопоты незнакомки-освободительницы. Ждали и... дождались. В одну из утренних проверок, и впрямь, по камерам запорхала в сопровождении красномордого расфуфыренная какая-то барынька. Только изъяснялась она не ангельским голоском, а ревела басом:

— Заговоры устраивать, побеги подготовлять? Я вам побегу, бунтари чертовы!

И тут же отдавала красномордому команду-приказ:

— Прекратить прогулки! Надеть наручники!

Это была мадам Зарина — жена исправника-карателя и начальника уезда, баба с громадным носом и седыми волосами.

Вот тебе и освобождение!

Но все равно неволю и плен запечатлевали мы в сердцах, как великую науку...

## 11. ПОБЕГ

В тюрьме началась разгрузка. Розыски о «бунтовщиках-революционерах» стряпались в спешном порядке. На допрос нас выводили в общую камеру.

Следователь Мазуревский, высокий и костлявый, с ястребиным носом, ловил меня с Родионом на том, что захват помещичьих угодий на Черниговщине, где работал брат, совпал во времени с железнодорожной забастовкой в Кореневе. Случайная обмолвка при встрече с Леонидом Семеновым следователю была уже известна. По его утверждению, в Кореневе, у Кулеша, я сапожничал будто для отвода глаз, а настоящая моя цель тамошнего житья — революционная пропаганда. Все это следователь-ястреб завязывал в один узел.

Главными виновниками всех последних событий считались «сумасшедший студент-литератор» Леонид

Семенов да «отставной военный чиновник» из Петербурга, неуловимый Кулеш. А мы — их «поддужные». Но так как Родион не встречался с Кулешом в Кореневе, а я о Леониде Семенове впервые услыхал только здесь, в тюрьме, свести концы с концами следователю не удавалось. Родион, которого Мазуревский изводил допросами еще до меня, напирал именно на это обстоятельство. Но наша встреча с Леонидом здесь, на тюремном дворе, и наши обмолвки, подслушанные красномордым, опрокинули позицию брата. Двойная улика оказалась налицо: Кулеш и Семенов.

Торжествовал Мазуревский.

— Карта ваша бита, — шипел он. — Игра проиграна.

— Кошке — игрушки, — отвечал брат, — а мышке — слезки...

Как-то, вдруг разбудив рано, вывели нас за ворота тюремной ограды. Повели к вокзалу, через сонный город, за срывистую реку Сейм.

— А что, если военно-полевой суд? — куражился один из конвойных. — Похоже на то?

Шли мы молча. Знали: все это фокусы Мазуревского или Даркина. А может быть, и впрямь смерть? Чем черт не шутит!

И мы как бы прощались с синим ветром, с серебряными волнами Сейма... Родион чуял: не увидеть ему больше родного края.

— Кончено! Зашло солнце...

А было яркое майское утро. В желтых молочаях и диком орешнике плескалась река, качала на волнах отраженное солнце. Когда в цепи конвойных, под обнаженными шашками, горевшими на солнце, точно огонь, пришли мы на вокзал, нас встретил Даркин. Теперь он был в форме жандарма. Конвойные козыряли ему.

— Во фронт! — командовал он, ломаясь точно пьяница перед чаркой вина. — Допрыгались, сукины сыны!

— Скажи еще слово... — подскочил вдруг брат к нему, — и я перегрызу тебе горло, гад!

— Ты против кого это? — рассвирепел жандарм. — Ага!.. Знаешь ли ты, кто я? Так... Сейчас теле-

грамму — и военно-полевой суд. На перекладину!.. Нападение на начальство!.. Бунт!..

Упало у меня сердце. Родион не унимался. Гневно бросал в косоглазую красную харю жандарма:

— Шпик! Вешай, палач! Не позволю оскорблять!

Даркин ушел. Мы остались в кольце конвоя ждать поезда.

Родион спросил меня:

— Веришь, что мы не погибнем?

— Верю.

— Повесят вас, сердешных, — отозвался Шелехов, молодой конвойный.

Из-за рощи налетел поезд, неся бурю, песок и грохот. У вокзала толпа озирала нас с ужасом. Мы направились в арестантский вагон.

Вокзальная суета, гудки, звонок, давка... Перед вагоном мелькнула вдруг девушка в белом, светлая, улыбчивая, под руку со спутником-провожатым, строгим, черноусым, в мягкой серой шляпе, должно быть, родственником... (после я узнал — это был Антон Щербак).

— Все в порядке, не беспокойтесь, — говорила она непонятно и тихо. — Я поеду одна.

— До встречи в Курске, — откланивался провожатый.

Незнакомка, замедлив перед конвоем шаг, колебалась. И только изредка бросала на Родиона долгий взгляд. Она была высока и стройна. Легкие, гибкие ноги ее, казалось, не дотрагивались до земли.

— Это — она! — прошептал Родион, шатаясь точно от удара.

Глядел на незнакомку. Она — на него.

Подошел Даркин, толкнул в спину:

— Чего глазеете? В вагон!

Третий звонок. Поезд рванулся вперед.

— Телеграмма отправлена, — хищно стрельнул красномордый в брата. — Нападение на конвой. Там разберут, в Курске...

В поезде нас опять разместили поодиночке. И я даже не ведал, в какой клетке едет Родион. В первую же остановку в Кореневе незнакомка прошла мимо на-

шего вагона, перед одним из окон остановилась, вздрогнула: увидела Родиона! Боясь, видно, улыбкой, взглядом обратить на себя внимание конвойных, быстро отошла от окна.

Но все-таки она ехала в этом поезде!

В Кореневе всех пересадили в состав, идущий на Курск. Старые мои кореневские знакомые, при встрече на платформе во время пересадки, с ужасом отшатывались от меня. Толпа вздыхала в молчании.

Поезд тронулся. В грустной этой дороге у молодого конвойного, что стерег меня сейчас в душной, заплеванной клети вагона, нашлись слова участия. Конвойный этот — земляк из соседнего с Кореневым села Пушкарного, белобрысый нахохленный унтерок с восторженными глазами и робкой улыбкой под светлыми усиками, Шелехов, — раскрывался под грохот колес, склонясь к самому моему уху, говорил скороговоркой:

— Не робей, землячок, сам сочувствую... свободе, то есть... Тоже небось люди мы!.. И сочинения Льва Николаевича Толстого читал... Великий грех земли лишать пахаря, а также плодов рук его, действительно! А вы — страдальцы за всех. Одобряю!.. Кабы моя воля, всех бы крючков разогнал! Первого — этого шкуру... Даркина...

И добавлял многозначительно:

— Я так понимаю: совесть-освободительница... тут она!.. Мы не звери какие, шалишь! Тоже люди! Мне намекала... та самая барышня... что есть совесть...

Грохотали колеса поезда. Мелькали деревушки, леса, нивы. Я прислушивался к скороговорке Шелехова, люто грезя о солнце и воле. Но по вагону проходил Даркин. Конвойный умолкал.

Другой конвойный стерег за перегородкой Родиона. Близилась ночь.

Даркин, проходя по вагону, злорадствовал:

— Ночью... то бишь на рассвете, вас, ехид... чик — и готово!

На рассвете привезли в Курск, где нас должны были судить. Меня вконец измотали бессонные ночи. Родион также осунулся, был бледен. Лишь глаза светились особым каким-то светом.

И вот когда мы, разбитые, изможденные, вышли из вагона, навстречу конвою, выскочив из снующей толпы пассажиров, подошла вдруг спутница-незнакомка в белой шапочке. Опустила голову перед белобрысым Шелеховым, низким, грудным голосом проговорила:

— Мне... с ним, — и повела глазами на Родиона.

— А вы кто? И который... ваш арестованный?

— Мой жених... Я — его невеста, Анна Протасова, то есть Варятинская. Вы должны знать...

— Что?! — сполошился конвойный. — Никак нельзя... потому... инструкция... Вам чего?

— Я же могу попрощаться, — дотронулась девушка до Родиона нежно, сунув незаметно в рукав ему письмо (от Леонида, это я узнал после).

Вытаращился Шелехов на Родиона. Пробормотал:

— Гм... невеста? Та самая?

— Молчите! — эхом отозвалась незнакомка.

— Да... это невеста, — проговорил тяжело дыша Родион. — Невеста поэта... Леонида Семенова.

Тут кинулась к нему девушка, чуть не сбив с ног. Обхватила его голову руками.

— Вот видишь... Анна не забыла вас... Леонида... освободили... Но он болен...

И шептала:

— Мы и вас освободим! Я буду жить тут, в Курске... Готовьтесь! Ждите! ..

Мы потащились в город, неся в сердцах образ Анны...

Девушку эту до вчерашней встречи мы не видели раньше. Только слыхали о ней, что это — невеста поэта. Подлинной ее фамилии никто не знал. В одном случае именовалась она Анной Варятинской (древняя фамилия князей Рюриковичей), в другом — Анной Протасовой, дочкой судомойки.

Сама девушка безразлично относилась к слухам о себе.

Конвойный Шелехов в разговоре со мной назвал ее «освободительницей». Возможно, Анна сама, мимоходом, намекнула что-то ему насчет «освобождения». Это осталось тайной.

Шелехова «собачья должность» явно тяготила. То и дело твердил он сам себе:

— Брошу собачью должность, мы тоже люди... Вернусь в деревню, сам себе буду хозяин. Вот она совесть-то... Освободительница... Докажу правду!

Родиона угнетало письмо от Леонида Семенова, переданное ему Анной. Что было в письме том, я так и не узнал. Но брат поминутно выхватывал его из рукава, перечитывал, стонал:

— Не могу! Убийцей быть не могу!

Меня осенила догадка, что речь идет, должно быть, о побеге. Леонид, вероятно, готовит нам помощь, но требует, чтобы мы в нужный момент «устранили» Шелехова, как наиболее податливого, то есть убили конвойного его же оружием. Почему пришла мне тогда в голову эта мысль, не знаю, но я не ошибся: догадку мою Родион потом подтвердил.

С Родионом мы условились бежать при проходе по городским улицам из тюрьмы в здание суда. Конечно, без «устранения» Шелехова: убивать этого безобидного унтеришку-земляка, который помогал нам чем мог, было бы чудовищно.

С вокзала в Курске нас отвели в тюрьму. А из тюрьмы назавтра же погнали через весь город — к зданию суда. Дом суда торчал близ главной площади. В переулке, примыкающем к ней, за купеческим садом, знали мы понаслышке, кишел ежедневный базарный торг. Тут мы должны были действовать.

Когда подошли с конвоем к купеческому саду, навстречу нам из базарной толпы бросилась нарядная стройная девушка. Это была Анна.

Кто-то выстрелил в конвойного, сопровождавшего Родиона, — она!

Кто-то отстреливался — Шелехов!

Базарная суматошная толпа выкатилась на площадь. В дикой суматохе этой я побежал из-под конвоя. Пули свистели вдогонку. Катилась волной по саду, по переулкам толпа. Кубарем покатился и я. Куда-то под обрыв сада. Перелетел точно на крыльях через какие-то канавы, заборы, изгороди. Очутился в пустыре, в высоких зарослях бурьяна.

Страшная тишина настигла меня тут. Держала до ночи.

Я потерял брата и не знал, что с ним произошло. Кажется, он был ранен в перестрелке. Но мне самому надо было убегать подальше от Курска. В темноте переплыл я через реку Тускарь и скрылся в зарослях лозы.

А через неделю очутился на родине.

Смутный, недобрый ропот леса, коренья да щавель — вот все, чем живу я теперь после побега, заброшенный в родные непроходимые дебри Черниговщины.

Люблю я поцелуи солнца, лес, облитый июльским огнем, и тихий, невечерний свет люблю. С вечера лесные голоса переходят в грозный, протяжный шум. В полночь гулы переполняют лес. Над темным обрывом в красных диких маках шатается качаемый бурей мой шалаш. Гудя, горит костер. А сердце мое болит:

«Несчастный мой брат! .. Нет ближе мне теперь человека, чем ты, с которым пришлось мне вместе вдыхать сырость тюремных стен, нет для меня более понятных мыслей, чем те, которые жгут твой мозг и бесстрашно ведут тебя на борьбу за счастье народа. . .»

Позже я узнал, что конвойные ранили Родиона. Суд приговорил его как социал-демократа и активного революционера к заточению в крепость, а на сколько — никто не знал. . .

## 12. ГРОЗА РАЗРАСТАЕТСЯ

Лето было в полном разгаре. Шла уборка хлебов. На сходах выносили приговор за приговором: не допускать уборки, доколе не согласятся хозяева отдать исполу урожай уборщикам.

Над землей, пропитанной потом и кровью хлеборобов, разгорались грозные клики:

— Землю и волю!

— Мир хижинам, война дворцам!

Много слухов ходило тогда об Антоне Щербаке. Говорили, что это дикий, необузданный лесной разбойник в звериной шкуре, с громадными пистолетами за поя-

сом и длинным кинжалом в зубах-клыках, — мститель за голытьбу бесстрашный. Щербак под чужим паспортом разгуливал днем с тросточкой и в шляпе, в господском костюме по городу, точно заправский буржуй. И только по ночам пропадал неизвестно где. И там, где он объявлялся, поднималась гроза.

В действительности, Щербак, как потом я узнал, был одним из тех интеллигентов-революционеров, которые считали, что власть царя и помещиков должно свергнуть с помощью крестьянских «бунтов», что борьбу можно вести и без народа, своими силами. Именовал он себя «социалистом», бескорыстным защитником голытьбы.

В соседних посадах и городках жандармы искали Щербака и не находили. Голова его ценилась на вес золота.

Когда проходил слух о набеге, о восстании, тотчас мужики догадывались: ага, где-то, значит, близко Антон Щербак. Жди его со дня на день с сигналом-пожаром.

На расспросы стражников-крючков старики отвечали с ухмылкой:

— Щербак? Да он давно помер! .. В Есмани его и закопали, бездомника.

Есмань с Еланью — посады, хутора, деревушки — раскинулись громадным становищем на рубеже трех губерний: Черниговской, Орловской и Курской: древняя вольница. Тут скрывались подпольщики-политики от слежки. Старожилы стояли за них горой. Начальство редко заглядывало сюда. Было известно: когда какой-нибудь сатрап, скажем, губернатор Черниговщины, получал запрос из «центра» о неких «крамольных преступниках», крючки с ног сбивались в безрезультатных поисках этих «крамольников». В своем участке сатрап Черниговщины, не задумываясь, на запрос отвечал: «Во вверенной мне губернии крамольников не оказалось». А «крамольники» преспокойно разгуливали под боком, в соседней Орловщине.

Так произошло и с Антоном Щербаком. О нем сообщили повсюду: «Щербака за смертью не оказалось». А он — тут как тут! ..

На ярмарку-гулянку в Елань пробрался Щербак бездомным шарманщиком.

Местечко клокотало точно кипящий котел, шумело в сплошном гаме, в ржании табунов, в визге гармоник и карусельных шарманок. Праздновали бабы «отжинки». Мужики заливали страду «веселой водицей». Дым шел коромыслом.

Когда под вечер ярмарка-гулянка подходила к концу, кто-то из толпы, взгромоздясь на бочку, крикнул:

— Щербак сидит в каталажке! Айда выручать! ..

Взбурлила толпа, хлынула к сборне. Сидел ли под замком Щербак, нет ли, так и не узнал никто. Но каталажку разнесли в прах. Стража разлетелась точно мошкара. Под набатный звон селяне двинулись на подводах в соседние усадьбы громить объездчиков черкесов, а заодно и хозяев-помещиков.

Впереди всех тарахтел на барском тарантасе заводила Артем в кучерской безрукавке, в шапке с павлиньими перьями:

— Понапились кровушки, теперь — стоп! — орал он, встав над тарантасом. — Отплатим за все разом!

Его поддерживали другие голоса:

— Отпустить Щербака! ..

— Найти Щербака! ..

Вот и сам Антон Щербак. Правит отрядом. Увидела его толпа, пуще расхрабрилась.

Полыхала усадьба, звенели разбитые стекла балконов. Артем взламывал двери, лез в огонь:

— Надо спасать опчее добро!

— Пошла драка, не жалей волос! — ревела толпа.

Оборону несла горсть повольников в каких-нибудь десять — двадцать человек. А в это время оглушенные громом старых берданок, грохотом колес, гиком толпы прятались по погребам целые отряды вооруженных стражников, хозяев, челяди. . .

С восходом солнца простыл след повольников. Хозяева с семьями, черкесы, стражники повылезли на свет божий и пекли в горящей золе себе на завтрак картошку.

Не прекращалась русско-японская война. На востоке России все ярче разгорался костер смерти. Война

чудилась мне далеким огненным шквалом, который обрушивался на берег России и кровавыми ручейками растекался по всему лицу русской земли. Кровь в ручейках этих была смешана с пламенем, которое зажигало ненавистью человеческие сердца.

В городах вспыхивали стачки рабочих. Поднимались хлеборобы. По усадьбам, точно метеор, носился красный петух.

Антон Щербак за два-три месяца объездил множество городов и деревень. Действовал он под различными личинами: то переодетым попом, то коммивояжером, то ярмарочным фокусником. А один раз, обрив усы и закутав голову в шаль, заделался даже свахой, чтобы под широченными юбками провезти прокламации. И провез...

В наших краях Щербак только-только объявился. Взвыли от него здешние сатрапы. Особенно после недавних «иллюминаций» на Черниговщине. До того двадцать раз хоронили Щербака. А он, глядь, жив-живёхонек! На этот раз воскрес под самым носом у стражи. Очухались «крючки». Дали телеграммы во все концы:

— Жив Щербак. Возродился, анафема! Словить!

Кинулись за анафемой, но поздно. Исчез, точно сквозь землю провалился.

Я был вне себя от радости. В то время Щербак казался мне бесстрашным борцом за свободу, неуловимым и всесильным народным мстителем. Втайне мечтал я быть таким же, как он. Не раз мне чудилось в тревожных снах, что мы вдвоем — я и Щербак — едем по бескрайней темной степи на гарцующих конях и высоко держим в руках зажженные факелы: путь себе освещаем и под барские хоромы пускаем гулять красного петуха. Бегут от нас в страхе помещики, как волки, из логовища своего поднятые. А по краям дороги приветствуют нас замученные неволей люди. Мы подъезжаем к ним и снимаем с их рук тяжелые звенящие цепи...

Просыпался я от таких сновидений с бьющимся сердцем и готов был тут же, без дальнейшего раздумья,

бежать вслед за Щербаком, быть ему верным помощником. Но это были лишь мечты: сказочные сны мои разбивались о тяжкую явь...

В те дни, о которых идет речь, Щербак и не думал никуда проваливаться, а средь бела дня прикатил в помещичьем экипаже, запряженном тройкой борзых коней, в Брянск, на станцию. Правил тройкой Артем — в павлиньем своем наряде.

Бритый, надушенный, под личиной сановника, Щербак важно вошел в вокзал, накричал на станционное начальство:

— Безобразие! Грязь, беспорядок!.. Поезд на Смоленск когда? Отдельное купе есть?.. Достать билет!

Перепуганные железнодорожные чиновники почтительнейше преподнесли ему билет. Извинились за грязь и беспорядок на вокзале. «Сановник» сменил гнев на милость.

Перед посадкой в поезд не удержался-таки Щербак. Позвал в зал первого класса обветренного Артема, усадил рядом с собой, сказал:

— Выпьем на прощанье, ямщик, за лихую езду! Ты такой же полноправный гражданин, как и все мы.

Хватил Артем стакан коньяку. От избытка чувств прослезился:

— Радетель вы наш...

А Щербак, подмигнув Артему, с барской напыщенностью направился к вагону... С тем и укатил за границу. Как утверждала потом молва, — в Америку.

## 13. ЖИТЬ И ЖИТЬ!

Шалаш мой над обрывом опустел.

По деревням рыскали, ища «бунтарей», карательные шайки стражников. Идти с голыми руками против этих вооруженных до зубов усмирителей было безумием.

Со мной бродил по лесным дебрям Артем. Но скоро с ним пришлось мне расстаться. Когда выяснилось, что

помощи ждать неоткуда, а кругом свирепствуют облавы, я ушел в преддверье брянских лесов.

Близились осенние холода. Куда деться от лесных кошмаров, холода, голода, одичания? Работать в деревне — словят. Бежать на работу в Брянск — нет ни денег, ни паспорта.

Каким-то чудом однажды вечером встречаю на большаке, у опушки леса, старого приятеля из Коренева, Василия Шаева, — ходатая по делам, вечного путешественника, книгаря.

Вот он весь: остренькая бородка, нос пуговкой. Тащится на своих двоих в Севск по какому-то делу о казенном лесе для погорельцев. А может, нарочно притащился книгарь из Коренева в клёвенские трущобы, чтоб меня выручить, — почем знать! Начальство, говорят, смотрело на него, как на скомороха, не трогало.

Он сразу же взял меня в переплет:

— Догораешь, лучина? — язвил он. — Брось дурака валять, обрастать мохом. Подтянись! Вот тебе карандаш, конверт с маркой, бумага, правда, оберточная, другой нет. Строчи обо всем, что знаешь в «Курскую весть». Вот адрес. Газетка эта смелая, напечатает... Только пиши так, чтобы люди между строк могли читать. Хитро пиши. Понял? О забастовках, о себе... Легенды, факты... Мало ли!.. Учись!

— А у кого учиться?

— Самоуком, дубина! Не боги горшки обжигают. Одолел ведь грамоту-то? Пиши!

— Попробую, — говорю я. — У меня есть и стишки-песни. Сам сочинил...

— Посылай, напечатают, — настаивал Шаев.

— А потом?

— А потом — в Москву.

Сказал, как отрезал.

Оставил мне сумку с хлебом, бельем и бумагой, поцеловал в вихры и зашагал прочь быстро-быстро.

А я назавтра же написал в газету.

Как одолел я первую грамоту, отчасти я это рассказал, а отчасти об этом речь впереди. Но «излагать мысли», делать записи о виденном, слышанном, писать не для себя только, но и для других я научился в то

счастливое лето по какому-то наитию. Правда, дико, неуклюже, наивно. Но все же «излагал». Печатными, конечно, буквами. Так я написал о забастовке, о красном петухе. Писал, вернее, царапал карандашом в полутьме, положив листок бумаги на колено. Потом послал в «Курскую весть». Через неделю слышу: по рукам земляков ходит газета из Курска. Читают статейку о наших забастовках, о пожарах, стишок невинный. Подпись «К» и «Гонимый» (Это — мои подписи).

Достаю газету. Так и есть: точка в точку. Ур-ра!

— Камрад, камрад! Эй, чуйка!.. Куда держишь путь?

Из-за леска, по большаку, нагоняет меня коляска-шарабан. В коляске узкогрудый, тщедушный господинчик, в очках, в помятой, запыленной шляпе, в легкой летней поддевке поверх чесучевой рубахи. Глаза — воспаленные.

— Приказчик купца Латышева, — рекомендуется он. — Забастовка-то, а? У нас до сих пор поля не убраны... Тсс... Я — свой.

Ну, думаю, влип.

— То есть как это «свой»? — спрашиваю, а сам гляжу в сторону, в лесок, чтобы на всякий случай дать «дерака». — Я не тутошний... А вы — езжайте своей дорогой, господин.

— Да брось... Ха-ха!.. — хохочет приказчик заливисто. — Я ведь от души... ха-ха-ха!.. Наш Латыш с испуга в постель слег, за границу собрался бежать... Дизентерию, понимаешь, получил через забастовку. А о тебе, товарищ, я слыхал от своих земляков. Я ведь сам в душе... Так им и надо, сволочам толстопузым! Жаль, семья у меня... дети... Но — я ваш.

— Что вам от меня надо?

— Да ничего. Только мой совет: тикай, друг, отсюда в какой-нибудь город. Разве только и свету, что в окне, а? Слыхал небось про Ломоносова? Пока, камрад!

Слыхал я про Ломоносова. В связке книг, оставленных мне Кулешом, нашел я наряду с Лермонтовым и

«Детством, отрочеством и юностью» Толстого книжку «Жизнь и деятельность Ломоносова». Книги эти я, разумеется, проглотил залпом.

А мечта моего отца была — сделать из меня хорошего столяра. Как о недостижимом счастье загадывал он о том времени, когда я, подучась у людей, может быть, заделаюсь строительным десятником и буду мастерством своим зашибать деньгу.

Разбил я мечты моего отца.

Вскоре после встречи с приказчиком забрел я в родную хибарку. Был поздний вечер. Никто не видел, как переступил я порог. «А если видел? Но все равно — чему быть, тому не миновать, а распрощаться с отцом и матерью я должен, может, на всю жизнь!» — решил я твердо.

Матушка как глянула на меня, так и присела:

— Сынок...

Отец головой покрутил сокрушенно:

— Эх, Тимон!

А я с порога:

— Ухожу учиться. Это надумано бесповоротно, до гроба.

Крепко загрустил отец. Должно быть, знал, что это значит.

— Ты сказал вот: до гроба, — усмехнулся он криво. — Это еще неизвестно. Бывает и так, что умрешь, а гроба-то и некому и не на что достать. Тогда хоронят без гроба...

— Э, что об этом говорить! Иду в город учиться, чтоб ученым быть. По стопам Ломоносова!.. Слыхал про Ломоносова?

— Слыхать-то слыхал...

— Так в чем же дело?

— Конь с конем, а вол с волом, — сокрушался отец. — Но если надеешься пробиться, от всего сердца желаю удачи. Разве я не понимаю? Учись, сынок, но помни: оборвешься, пропало все. Думал... растут ребята, помогут в старости... из бедности выбьемся... Ан не пришлось... Чую: не к добру это. То бишь,

к добру было бы, если б... Ведь я же пропадаю от ярма. Не забывай нас!..— вдруг вскричал он.

— Я буду помогать тебе!

— Куда там!

Потом проронил уже примиренно:

— Я умру спокойно, ежели ты на большую дорогу...

И не досказал, затрясся от слез...

Утешить отца не пришлось. Раздались тревожные крики матери: нагрянул урядник Картузов с кучкой стражников. Подглядели-таки!

Что тут было — не помню. Мать успела только, вбежав в хату, крикнуть мне:

— Убегай, убьют!

Я убежал, пользуясь темнотой, спрятался в зарослях конопли. Оттуда слышал, как схватили стражники брата Степана и отца.

Картузов кричал свирепо:

— Смутьяна прячете? Бунтовать? Всех заарестую. Упрячу куда ворон костей не заносил!

В хибарке, будто по покойникам, причитали мать и сестренки.

Позже узнал: Степан оставался под арестом на допросе долго. Отца выпустили — «старость пожалели». Но он был разбит и, придя домой, слег.

...Ушел я пешком на Москву. Дорога пролегала через брянские леса. Днем в пути встречали и провожали меня мужики — кто улыбкой, кто насмешкой. По ночам конвоировали с воем волки. Над головой, точно черные знамена, шумели крылья огнеглазых филинов. Их дьявольский хохот несся мне вслед.

Так пробирался я сквозь дремучий лес, точно сквозь строй, в то время, когда всюду и везде ходили поезда по железным дорогам. А денег на билет не было. Но лесостепь, волки да совы воспитывали меня ведь с младенчества. Страшного тут ничего не было. Страшны были злые люди, их дела...

И в те дни и ночи, когда пробирался я через лесную гущу, не покидал меня образ моего отца. В схватках с жизнью, отстаивая семью, обессилел, состарился он. А каким бесстрашным был в молодости! Живо предста-

влялся мне один его подвиг, рассказ о котором глубоко запал в мою душу.

...Дело было весной, в половодье. Артель плотников переправлялась на плоту через бурную речку. Пловцы, во главе с отцом, правили шестами. На стремнине плот вдруг захлестнуло водоворотом, понесло точно щепку вниз по течению, прямо в прорву. Она гремела страшным водопадом за изгибом реки. Ревучий поток повырвал из рук пловцов шесты. У отца осталась за поясом только веревка. И вот на изгибе реки, чтобы задержать, отвести плот от смертного водопада, отец, быстро привязав один конец веревки к плоту, с другим концом бросился вплавь, наперерез стремнине, мгновенно доплыл до берега, закрутил конец веревки у ракиты, схватил обледенелыми руками веревочный узел...

Когда плот остановился на натянутой веревке перед самым водопадом, бегущая по берегу вслед толпа сначала застыла в ужасе перед «чудом» и только потом кинулась на помощь отцу. Плот с оцепенелыми от страха пловцами общими силами подтащили на веревке к берегу.

Черны были лица спасенных, но светились их глаза, обращенные к моему отцу...

...Думал я, шагая волчьей дорогой по лесу: «Вот и сейчас крутит, вертит меня, как щепку, в водопаде жизни. Не знаю, что впереди: может, омут, а может, берег. Опустить руки, повесить голову, пусть-де несет лодку по течению, куда-нибудь да вынесет — это не жизнь, это погибель. Жить — значит неусыпно бодрствовать у руля, выбирать дорогу, обходить подводные камни, прорвы, видеть, всегда видеть перед собою цель и к ней идти. Вот и буду держать руль на Москву, за наукой, как держал отец веревочный узел. Не опущу!»

Мать как-то сказывала, что в Москве жила ее сестра с мужем, Семеновым, рабочим какой-то фабрики. Двадцать лет уж о них не было ни слуху ни духу. А что, если они в Москве и поныне? Через них и определюсь на фабрику. Ну, а ежели не разыщу Семеновых, — свет не клином сошелся: образованные люди помогут. Прочтут мое стихоплетство и, глядишь, при-

знают. От этой мысли светлее становилось мне в темном лесу. Я то и дело ощупывал котомку, не потерял ли тетрадь со стихами — паспорт неписаный мой!

В одном селе, по дороге, повстречался мне старик, безвестный нищий, бродяга. Про него говорили, что он почти даром, за кусок хлеба, учит шустрых людей «большим наукам». Заночевали мы вместе в одной хате у милосердной старушки, на клочке соломы. Узнал бродяга, что я за наукой гонюсь, подвинулся ко мне поближе и зашептал:

— Жил в стольном городе Москве, в красной башне, царь Иван Грозный, тешил себя казнями подданных. Под старость вразумил царя родич-праведник искусству подвига. И осенила царя благодать схимы. Но черт не знал об этом. Попер он напролом в тайник башни к схимнику царю, чтоб род весь православный закупить-загубить. А Иван Грозный возьми тут да и перекрести дверь башни. «Стоп!» — кричит черт. «Попался?» — вопрошает царь. «Ослобони, летать будешь, Иван, аки птицы в поднебесье». — «Птицы с железными носами?» — «Покеда воздушный шар. А железный нос потом!» — «В Ерусалим летать можно?»

Покоробило черта от таких слов. Подумал он подумал да и говорит: «Садись, свезу».

Сел верхом царь Иван на черта, вроде как на птицу поднебесную, и полетел чертяка под звездами, да так шибко, что аж шапка соболья у царя с головы сорвалась. «Остановись! — кричит Грозный. — Ин шапку поднять надоть, сорвалась». — «Э, пятьсот верст отшпарил ужо», — черт в ответ. «С нами крестная сила!» — вопит, крестясь вновь, царь Иван (вспомнил, знать, о схиме).

И — грох тут о какую-то гору, аж бок отсадил. Смотрит: Лысая гора в Киеве — стольном же граде. А черт хохочет: «Слетал? Превзошел мою науку?» — «Отойди, сатана!» — «Не отойду. Схиме твоей да и ветви твоей из древлего рода каюк! А потомкам рода того быть, Иване, рабами Вельзевула — язычниками».

Черт исчез аки дым. Царь же Иван, переодетый мужиком, поволочился пешим в Москву. И снова принялся там за казни. С тем и умер.

Помолчал бродяга, посопел, метнул глазом в мою сторону.

— К тому я поведал тебе сказ мой о Грозном, чтобы ты, вьюнош мой дорогой, отвернул взор свой от ученых чародеев. Все они с башни своей сверзятся в бездну. И ты помни: чем выше взберешься на башню, тем страшнее будет вниз с нее падать.

— Все ты лжешь, старик, — говорю ему. — Сам ты сатана, и не о счастье, а о горе людском печешься.

Старик вцепился в меня скрюченными пальцами:

— Не веришь?

— Не верю.

— Погибнешь!

— Не стращай, старик... Не собьешь ты меня с пути. Люди обученные зорче правду видят.

Оттолкнул я бродягу, засмеялся ему в лицо и устремился в путь-дорогу.

Только через месяц, пробираясь то пешком, то «зайцем» на крышах вагонов, очутился я, голодный, ободранный и разбитый, в Москве. Дополз до адресного: Семеновых в Москве не оказалось. Стало быть, один: ни близких, ни знакомых...

Кто-то, узнав, что я «писучий», посоветовал мне:

— Зайди к Сытину, издателю. У него сперва тоже не было штанов. А сейчас он миллионер. Все писатели у него в кармане. Лезь туда и ты... В душу!

— Ну, к миллионеру в душу не залезешь. Скорее он к тебе заберется в печенку.

— Надо уметь! Или вот другой бывший лапотник — Пастухов, издатель «Московского листка». Тоже приплелся в Москву «без оных». Выпустил этот самый «листок» с похабным романом и обобрался деньгами. Вот шельма! Но, положим, Сытин — шельма хитрей и поотесанней... При к нему.

Захожу к Сытину, в громадное здание на Пятницкой улице. Привратник у кабинета осаживает меня:

— К самому? Да разве ж это возможно? Разве ж он станет разговаривать... с каким-то... извините, не знаю...

— Да ведь он сам был тоже «какой-то»!

— Теперь, вишь, не какой-то, а князь во князьях!

— Ну ладно... Доложи князю во князьях, скажи ему: имею матерьял для газеты, хочу попросить подходящей работы.

В ответ привратник мычит невразумительно и еще плотнее прикрывает дверь кабинета. Я жду.

И вот дверь с шумом отворяется. На пороге хозяйский приказчик. Зарычал:

— Сказано — нельзя, значит нельзя! .. Осади назад! .. Ван-Митрыч слишком занятой человек, чтоб принимать людей с улицы. Да и не вмешивается он в дела газеты. Этим заправляет редактор Влас Дорошевич.

Дверь снова плотно захлопывается. Я остаюсь точно рак на мели.

Куда ползти? К Пастухову? .. Или — прямо под трамвай?!

Нет! .. Не выбьете руля из моих рук! Жить и жить!

## 14. НАЗАД ВОЗВРАТА НЕТ

Пришел я вот в Москву «за песнями». А она взяла да и прихлопнула меня гробовой крышкой. Мечталось поступить рабочим на какую-нибудь фабрику, учиться на вечерних курсах, бороться за свободу, петь о радости. Но сделаться столичным рабочим, учиться на курсах — для пахаря равносильно чуду. В деревне, где ремесло считалось верхом счастья, а букварь — верхом науки, на столичных рабочих смотрели как на чудо. А мне пока до такого чуда дальше, чем до звезд.

Но ведь я поэт, слагатель песен!

...Даже под гробовой крышкой не теряю надежд. И чем недостижимей мечта, тем упорней стремлюсь к ней. Родиться поэтом — еще не значит им быть. Только неслыханный, дерзкий голос, которым заслушалась земля, утверждает за певцом высокий титул поэта. Но для современного поэта петь — значит жить, а жить — значит печатать свои песни. Бродя по Москве, я пел: «Привет тебе, моя горькая южная жизнь! Ты — моя радость!»

А сердце обливалось кровью.

Спрятал я песни свои, засунул поглубже в котомку.

От встреч с белокаменной ждал сногсшибательных взлетов, побед. А вышло наоборот. Древний город с его тупиками, кривыми и узкими переулками, с фабричными трубами и золотыми луковицами церквей похож был на склеп. А жизнь моя разве не склеп, из которого, хочешь не хочешь, надо выкарабкиваться?

...Ночью, после выгребных работ, карабкаясь, пробираюсь где-то на Щипке, у забора, в ночлежку. Клюю носом в дреме. Слышу: меня облегли какие-то уличные прохожие с руками, обросшими шерстью. Шарят по пустым карманам... отрезают под полой пиджака котомку с хлебом, бельем и только что записанными песнями... Пока я поднял крик, жулики скрылись. Остался один из них — в фуражке-московке, в сапогах бутылями, угрюмый и дикий. Пихнул меня огромной лапой в грудь, а потом гукнул насмешливо:

— Страдаешь? Без работы! Слезы льешь? Я вот тоже безработный. Дак, думаешь, буду страдать, как ты? Нет, дудки-с... Я буду резать!

Ору в переполохе:

— Караул! Режут!.. Грабитель!..

— Тише, дьявол! — рычит жулик. — Хозяев-пузачей надо резать, а не кого-нибудь... чтоб правили рабочие... Понял? Запомни!.. Ежели ты не зарежешь псов, они тебя прикончат! — сплюнул угрюмо залихват-спутник. — Шевели мозгами! Понимай, к чему разговор.

Выхватил из кармана финский нож и, помахав им перед моим носом, сказал коротко:

— Буду резать.

— Сейчас? Где? Кого?

— Трактирщицу... За углом. Сей минут.

И угрюмец шарахнул вдруг через забор, на двор — во флигель.

Голова у меня шла колесом.

Но вот кто-то, слышу, тормошит меня в тревоге свирепо:

— Вставай! Царство небесное проспишь.

Оказывается, я спал под забором. А тем временем во флигеле угрюмец успел подколоть финкой хозяйку-

трактирщицу, стащил у нее из-под перины «рыжики», так он называл золотые монеты.

— Айда на Хитровку! Там все концы в воду. Слыхал, чать, про Хитровку? Идем!

Про Хитров рынок я слышал раньше. Говорили, что там обретались какие-то особые люди из разряда хитрых, вольные «академики». Работу они считали бедствием, покой — глупостью, очаг — обузой. Жили как птицы небесные, без собственных штанов и карманов. Предпочитали пользоваться чужими...

— Живей греби лапами! — торопит меня парень-«академик».

Говорю вольному «академику»-угрюмцу:

— Пошел к черту! Я неделю не спал, а он — с Хитровкой!

— Может, тебя зарезать, — участливо предлагает он, — чтоб не маялся? Хочешь, облегчу? Фамилья моя — Сычуга. Запомни.

— Отстань, головорез! Ты мою котомку, единственное мое богатство, содрал с меня.

— Из-за пачпорта это, — признается спутник. — В котомке был пачпорт? Фараоны не следят за тобой? Шпики? Твой пачпорт нам пригодится: из-за того и котомку твою срезали.

— Может, ты и есть шпик? — огрызаюсь храбро. — Насчет паспорта — попал пальцем в небо: я сам скрываюсь от фараонов, беспаспортный я.

Тут угрюмец одобрительно хлопает меня по плечу:

— Ладно, там видно будет... Ты теперь — убивец, такой же, как я, потому как прознал про мое «дело» — и молчок. Идем в ночную чайную, на Хитровке. Там все свои ребята. Расход — мой... Рай, а не Хитровка!.. Сами себе хозяева! Все мы — убивцы!.. А может, отплатчики?.. Идем! Я тебя, вахлака, выведу в люди.

Пошли. В то время ночные чайные в Москве торчали почти в каждом переулке. Были они последним притоном-убежищем для бездомников и бродяг. Ночью заплатишь пятак за чай да и храпи за столом до рассвета.

Когда мы ввалились в притон на Хитровке, защем-

ленный где-то меж древней стеной и часовней, у реки Яузы, в полуподвал с надписью «Ночная чайная Сыч», нас встретил невероятный гвалт и гам, визг шарманки-«оркестриона», пьяные песни, угар. Никто тут и не собирался спать.

В углу за стол садится мой спутник. Рядом с ним — я.

— Новенький? — смутно слышу чей-то сиплый голос. — Спи!

Голова плывет в тумане.

...Чудится: спутник мой — не спутник в фуражке-московке, а Иван Грозный в шапке-скуфейке, с секирой в руках... А я — не я, а странник-приверед — Максимка в лохмотьях... и руки — в оковах... Тупо рубит Иван Грозный, каратель хозяин, он же спутник-угрюмец, мне голову секирой, никак не сможет отрубить. Рвусь из оков — и просыпаюсь в ужасе и тоске.

Хозяин чайной, усатый боров в замасленном кожаном фартуке, лупит меня по шее жестяным подносом, точно топором. Орет зло:

— За чай платишь? Нет? Проваливай, коли так, прощалыга!..

И я вылетаю из двери пробкой.

На дворе — утро. Оно встречает меня громовым приветом — лязгом трамваев, далекими гудками, звоном колоколов.

Ночной мой спутник так и провалился. Больше я его и не видел.

...Через три дня московские газеты кричали уже об убийстве и ограблении одинокой хозяйки-трактирщицы на Щипке. Убийца оказался ее любовник, «молодой человек без определенных занятий», которого хозяйка выгоняла из своей квартиры всякий раз, когда он требовал от нее денег, за что и была им убита и ограблена. Теперь убийце дали «казенную квартиру» в Таганской тюрьме. Фамилия его — Сычев.

Вот где очутился, думаю, мой ночной спутник-бродяга!

А я продолжаю месить уличную грязь...

Еще с полмесяца после того пробродил я в поисках

работы по Москве. Тщетно! Видать, Москва невзлюбила меня, а я — ее.

Двинул на Питер. Назад возврата нет. Со мной мой щит — моя юность. А там, за далью ненастной, — солнце обетованной земли...

Вперед же, на штурм судьбы!

## 15. ВСТРЕЧА С ТУЛЯКОМ

Поэт Леонид Андрусон — секретарь петербургского общедоступного «Журнала для всех» (стоил журнал один рубль в год) — прислал мне в глухую деревню письмо в ответ на посланные в редакцию стихи. Это было год назад, еще до поездки моей в Москву.

Андрусон, очевидно поняв, что школы я не ведал, измучен физической работой и учусь «самоуком», советовал... «больше читать, в чтении приобретать навык литературной речи и двигаться вперед, несмотря ни на что, так как у вас есть врожденное чувство русского языка».

Окрылило меня это письмо, хотя я и сознавал трагичность своего положения — положения нищего деревенского парнишки, зарабатывающего скудный хлеб свой поденщиной. Метался я по селам, станицам и городам, как затравленный волк, но в душе всегда носил немеркнущий свет.

Отрочество мое — самая первозданно-прекрасная пора жизни — сожжено было в горниле нищеты, невероятного, каждодневного унижения и горьких сетований. Когда я узнавал, что в стране есть много школ, гимназий, институтов и университетов, где богатые люди овладевают знаниями, а беднякам туда доступа нет, я криком кричал, проклинал свою нищету и дал клятву: век жить, век учиться, дураком не околевать.

Кто-то сказал: «Русского мужика бьют в кровь, тянут из него жилы, а он без наук все науки прошел». Пашет мужик, сеет, собирает урожай, кормит всякую живую душу. поет и пляшет под свирель! — и тогда печаль с него как с гуся вода.

Впервые я задумался о том, как страшна жизнь

для нищего, безграмотного труженика, какие грозные препятствия нужно ему преодолеть, чтобы достигнуть зенита. Я содрогался от своей беспомощности, но головы перед неудачами не склонял. А сдирая живую кожу свою на шипах и колючках, лез вперед, все вперед. Униженно вымаливал я у какого-нибудь дьячка старую книжку или прочитанную газетку, чтобы «освежить» мозги печатным словом, перед которым благоговел.

Угрюмые нелюдимы издевались надо мной:

— Брось, парень, дурацкие книжки! До добра они тебя не доведут. Того гляди, зачитаешься ты, петухом закукарекаешь, с ума сойдешь, проклянешь жисть!

Но жизнь во мне была неистребима. И, покончив с неудачными попытками устроиться на работу в Москве и вырвавшись из трущоб Хитровки, я на товарном поезде, без всякого проездного билета, на крыше вагона добрался до Питера.

Была поздняя осень. Передо мною раскинулся великий северный город. Строгие линии улиц, дворцы точно скалы, тысячеглазье огней в окнах... И туман...

Плетусь в адресный стол, на Садовую. Может, найду родственников — Семеновых? Толпа шарахается от меня прочь. Невероятный мой вид отталкивает всех.

В зале — очередь. Около оконца суетится, точно вопросительный знак, человек в темных очках. Одет во все новое: суконное пальто, кепи, лакированные сапоги. Смотрит на меня пристально, и я поглядываю на него. Где-то видел, что-то знакомо лицо...

Человеку в очках из оконца конторки задают вопрос:

— Ваша фамилия — Тычинский?

— Да, Тычинский... Ищу адрес моего брата.

— Такой фамилии в адресном столе нет.

— А я говорю есть: на Тамбовской улице живет братишка мой. Только номер дома я вот забыл. Поищите лучше...

— Чего вам нужно? Сказано: нет.

— А я говорю: есть! Ищите. А не найдете — жаловаться на вас буду... самому градоначальнику!

Конторщица сердито захлопывает окошечко. Человек в очках, чертыхаясь, отходит в сторону.

Я продолжаю наблюдать за ним. А он вдруг ко мне:

— Тимон?

Оторопел я...

— Узнаешь меня?

— Товарищ... Туляк?!.. — вскрикиваю. — Невероятно!

— Он самый... — подмигивает Туляк. — Гора с горой не сходится, а человек с человеком — в точку!

— Так ты вот где!.. Друг!..

— Дело не в дружбе, а в службе. Ты, слыхал я, стишки кропаешь?

— А что?

— Значит, лезешь в гору. Шаев мне писал о тебе... Про все знаю: и про побег, и про «иллюминацию», и про брата твоего Родиона... Все это так. Но ты совсем, вижу, в люмпен-пролетария превращаешься. Разве это дело?

Спрашиваю Туляка с горькой усмешкой:

— А разве революционеру необходимы смокинг и лакированные башмаки?

— Не совсем так, но... Теперь иначе нельзя. Нужна конспирация, маскировка. А ты как думаешь... жить в Питере?

— А почему бы и нет?

Посмотрел на меня Туляк строго. Скороговоркой забубнил:

— Возвращайся-ка в деревню, обратно. Тут и без тебя людей хватит... катись в глушь! Я тебе помогу. Бабы отсталые, старики... среди них работа твоя будет иметь успех... Ну, там интеллигентики захолустные, их надо умеючи обхаживать... А я здесь, в Питере... действую... — И продолжает нетерпеливо: — Стишки — категорически запрещаю. Сапогов нет, а он — за стишки! Поэт!.. Подумаешь! Эту дурь надо выбить из головы. И — марш восвояси!

Выговор Туляка меня ошарашил. Мутной волной захлестнула тут меня мысль о зависти Туляка ко мне, как поэту. Когда-то сам он, помнится, «варганил» стихи о фабричных трубах. Опасается, наверно, как бы я не

сделался через эти стишки каким-нибудь этаким, черт возьми, хлюпиком.

Но все равно, даже если бы я не был поэтом (а я им, чую, был), я отверг бы чье бы то ни было верховодство над собой. И потом, что это еще за приказ — жить в деревне?! Разве он не знает, что там сейчас — карательные отряды? И голь и непроглядная тьма?

— Нет! — говорю. — В деревню не вернусь.

— Ты, знать, против дисциплины? — ерошится Туляк.

Я молчу. Всерьез он это или шутки шутит?

— Отвечай: да или нет? — не унимается он. — Я помогу... Дам на билет. Железнодорожный. А стихи — брось. Плюнь на них.

Говорю ему:

— Нет. Песни не брошу. И в деревню назад не поеду.

Туляк роняет вкрадчиво-вызывающе:

— Двадцать пять рублей дам. В деревне — это деньги.

Я — не менее вызывающе:

— А сколько сам зарабатываешь тут, в Питере?

Отрицательный жест. Туляк, как мне показалось, сбавил спеси. Подмигнул:

— Черт с тобой! Живи как знаешь!

Наплевать на свои песни?.. Короче: самому плюнуть в свою душу? И тут решил я, что потерял в Туляке друга. Резко отвернулся от него.

Он исчез так же неожиданно, как неожиданно и появился.

«Почему он так со мной говорил? Что ему надо было?..» — не понимал я.

И ушел дальше — штурмовать судьбу.

## 16. В ДЫМУ

Не нашел я своих родичей и в Питере. Но в тот же день на Знаменской, на лестнице дома с меблированными комнатами, встретил Леонида Андрусона — светлоглазого поэта с мученическим лицом, с русой бородой-лопатой, в пенсне. Остановил он меня:

— Вы к кому?

— Здесь живет Леонид Андрусон? Поэт?

— Леонид Андрусон — это я.

— Вы мне писали... в деревню... — бормочу смущенно. — Я крестьянин... хочу быть писателем... пока что пахарь — работник. А пишу стихи...

— Знаю! Миролюбов взял ваши песни и стихи в «Журнал для всех». У вас — талант, да, да... Будем друзьями! — он протянул мне руку.

Мечтатель поэт Андрусон в дни вынужденных моих скитальчеств, когда я получил от него первую похвалу в письме, присланном в степную глушь, представлялся мне баричом. А тут вижу перед собой обшарпанного пролетария-бородача в порыжелом пальто на рыбьем меху. Но все равно от встречи с ним я был в восторге.

«Поэты заботятся об убранстве души», — оправдывал я андрусоновскую поэтическую нищету. Сам Андрусон, наоборот, возмущался этим:

— Скоты! Идиоты! — ворчал он.

— Кто скоты?

— Да читатели! Водят поэтов в отрепьях и требуют от них радостных песен!.. Миролюбов никому не платит за стихи, дескать, читателю они не нужны, стихи. Но без песен человечество превратилось бы в стадо животных. А песни — только тогда песни, когда певец независим. А наш брат-бедняк связан по рукам и ногам. Прежде всего — нищетой связан. От этого не запоешь.

— Но все-таки — вы поете... — говорю я, — о счастье и радости...

Печально посмотрел на меня Андрусон. Потом, покачав головой, повторил:

— Да, пою о счастье и радости... которых нет!

Шли мы по какому-то переулку. Андрусон прихрамывал впереди. Гуляющая публика, косясь на мои опорки, обходила меня точно лужу. Когда завернули мы в какую-то подвальную харчевню, привратник преградил мне дорогу:

— Нельзя-с... в таком виде...

Андрусон, возмутясь, рванулся было в бой. Но меня все-таки не пустили. Тогда Андрусон, плюнув на харчевню, предложил отправиться к его брату, доктору.

— В меблирашке у меня — кавардак, холод адский и жрать нечего... — объявил он. — А вам сейчас, повидимому, неплохо бы перекусить. Да и ночлег, пожалуй, нужен. Ночевать в меблирашках не позволят. В таком случае... едемте со мной к брату. Он живет за городом, на мызе, под Ямбургом.

— Но не произойдет ли у доктора в квартире того же, что в харчевне? — спрашиваю робко. — Не вытолкают меня и там за дверь?

— Нет. Мы будем у него гостями. А вообще-то нам все равно. Шагай!

Продолжаем шагать.

Но тут, откуда ни подвернись, окружила нас подвыпившая компания. Все в поношенных пальтишках и помятых шляпах, похожие то ли на разжалованных певчих, то ли на уличных актеров, с длинными шевелюрами, бритыми бородами (не сбритой борода оставалась только у одного). С хохотом подхватили они Андрусона вдруг под руки и потащили за угол, в старый какой-то особняк.

— Попался наконец! А мы тебя искали на квартире... Легок на помине! .. Выступаем у этого мецената или у старухи меценатши... Полсотняги на круг обеспечено!

— Нет! — упирался Андрусон. — Я не один. Со мной вот друг.

— Подумаешь, друга нашел!

— Никаких друзей! .. Кто он такой? .. Этот? .. Ты? .. Прореки, кто ты такой?

Онемел я. Что это за люди? Друзья или враги?

Андрусон представил меня:

— Поэт-самоучка...

— К черту самоучку! Идем к меценату? А потом — к Давыдке-ресторатору! .. Идем?

— Нет, лучше к Давыдке, — настаивал Андрусон. — Поэтов там уважают.

«Давыдка», как тут же я узнал, — это кабачок не-

коего Давыдова где-то на Владимировском проспекте, царство богемы, куда любили нырять ведущие легкомысленный образ жизни поэты, актеры и их поклонники.

Обшарпанные же вот эти «поэты-бессребреники», как они сами сейчас отрекомендовались, были: Константин Фофанов, Владимир Лебедев, Павел Егоров, Борис Богомолов, Игорь Северянин.

Фофанов — восторженный заводила ватаги, чудак с пьяными глазами и с такой же рыжерусой бородкой, как у Андрусона, — сразу напал на меня:

— Да знаете ли вы, что такое поэт? Это — пророк! Властитель дум! Маг! .. Он — выше, чем царь! Как же вы осмеливаетесь называть себя поэтом? Проходили ли вы искус? .. Посвящение? .. Испытали ли муки творчества? Читали ль, скажем, хотя бы меня?

И Фофанов заплетающимся языком изрек:

Я плыву из юных стран
Вдохновения и света,
Где в лазуревый туман
Даль румяная одета...

— Читали? .. Нет? Плохо... А покровители были? .. Помогали?

Язык у меня прилип к гортани. Я молчал.

Фофанов поморщился и сразу заговорил о «культурности», о «благородстве» русских состоятельных людей, о неблагодарности самоучек к бескорыстным покровителям поэзии и искусства, таким, дескать, как тот же купец-миллионер Бугров или, скажем, московский инженер Мамонтов. Все они, по его словам, влюблены в русский талант, в поэзию и не жалеют денег на «мир искусства».

Он дико вращал безумными глазами:

— Лев Толстой, Серов, Шаляпин, Врубель, Нестеров, Васнецов прославили русское имя на весь мир. А у нас забыли об этом! Я спрашиваю — забыли или нет? Не забыли — так забудут! У нас погибнут все просвещенные покровители искусства!

Фофанов уставился бычьим взглядом на Андрусона:

— Я... гм!.. сам метил в классики... — и просыпался. А сейчас... напиться хочу! — крикнул он. — Душа моя окровавлена... Все потеряно!.. Где-то у меня сказано:

...Но колышется ковыль,
Ветер воет на ненастье,
Впереди нас — тлен и пыль,
Позади нас — только счастье.

И снова повернулся ко мне:

— И это... не читали?

— Э! Нет! — закрутил головой Андрусон. — Счастье всегда впереди. Всё — в будущем! А вы, Фофанов, слепец.

— Ловите, ловите жар-птицу! — безнадежно, нараспев прогнусавил Фофанов. — В общем и целом идемте к меценату. Марш!.. У него — приемный день!..

Поэты завернули в подъезд особняка. Я был как в дыму и решил идти назад. Легко, думаю, живется этим поэтам-бессребреникам: прочитал где-нибудь на вечере стишок, глядишь, полсотни в кармане. Живи себе, слагай новые стишки. А я три дня ничего не ел, отчего у меня помутнение в мозгах и в животе шарманка. Тут не до новых песен и не до старых.

Из подъезда, оборотясь, Леонид Андрусон подмигнул мне:

— Подожди, не убегай, все будет в шляпе.

И я остался ждать — счастья?.. беды?.. зарю или ночь?.. не знал тогда. Всего вернее — возможности «заморить червячка» у брата Андрусона.

Через некоторое время вся компания вытряхнулась из особняка. В руках у Фофанова трепетал закрытый пакет со вложенным в него «гонораром». Этот пакет, говорят, вручила Фофанову, без лишних слов, сразу же в передней, какая-то важная старуха. Она едва упросила поэтов не читать стихов. Теперь все восхваляли Фофанова за ту «мертвую хватку», с какой обезоружил он старуху и опустошил ее карман. Брюзжал только Игорь Северянин — высокий молодой человек с льви-

ной гривой. Он не верил, что карман старухи опустошен.

— А я утверждаю, что опустошен! — потрясал пакетом Фофанов. — Тут вся старухина наличность! Бумажка — полсотняга, во всяком случае, налицо!

— Вы утверждаете? — сомневался Игорь Северянин. — Ну, так... вскройте пакет!.. Ну!.. сейчас же... Я уверен, что там — портрет пиковой дамы.

Фофанов дрожащими руками распечатал пакет, заглянул внутрь, забормотал растерянно:

— Шиш... шиш...

— Что??.

— Шишнадцать рублей!

— Да не может быть! — вскричал Северянин. — Это издевательство! Я хоть и бессребреник, но глумиться над собой не позволю! Сейчас же вернусь и брошу эту подачку старухе в морду. Дайте мне пакет!

— Тише, Игорь! — урезонивал его Фофанов. — Все что угодно, только не скандал, не канибальство. Идемте к Давыдке! Денег на шашлык хватит...

При более точном рассмотрении в пакете оказалось не шестнадцать рублей, а всего-навсего десять. Шесть рублей Фофанов по ошибке присчитал своих. Действительно, жалкая подачка. На нос приходилось по два рубля.

— Красненькая тоже деньги! — ликовал совсем юный Борис Богомолов. — Ура!

У «Давыдки-ресторатора» все столики оказались занятыми.

За одним из них сидели два человека. Как будто никакого отношения к корифеям они не имели. Это, как успел шепнуть мимоходом тот же Фофанов, были: Бестужев-Рюмин, надутый правнук декабриста, «стихокропатель», в новой визитке и цветистом бархатном жилете, да еще Спиридон Дрожжин в толстовке — поэт-самоучка из тверских мужиков, щупленький старичок с бородой клинышком, простоватый, но неприступный для незадачливых поэтов-бессребреников.

Спиридон не удостоил вошедших и взглядом.

— Можно к вашему столику? — спросил его Фофанов робко.

— Не стесним, дядя Спиря?

— Видите, столик занят, — отвечал Дрожжин важно.

И, свысока глядя на остановившегося перед ним в почтительной позе Фофанова, глубокомысленно разглагольствовал:

— Классик, можно сказать, тот, кто в писаниях своих пользуется метахвóрами. Порогов редакции я теперича не обиваю... Напримерича, ноне редакции для меня, примерно будем говорить, — без надобности. Сам с усам!.. Метахвóра меня вывезет...

— Постой, дядя Спиря... — бормотал уже изрядно пьяный Бестужев-Рюмин. — Ты зарапортовался, гм... Во-первых, не метахвóра, а метáфора!.. Во-вторых, ты безнадежно устарел... Нет у тебя, брат, новаторства.

— Все одно — я всех перекрою!

— Врешь ты, дядя Спиря!

— Ан, может, ты врешь? — артачился Дрожжин. — Хоть ты и в бархате...

Поэты-бессребреники вздыхали, не решаясь ввязываться в спор. Потом начали разыскивать внезапно затерявшегося Фофанова, чтобы взять у него «честно заработанную» десятку и заказать шашлык. Но Фофанова и след простыл. Оказывается, он успел улизнуть под шумок.

Несолоно хлебавши покинули царство богемы поэты-бессребреники...

Мы с Андрусоном поплелись к вокзалу.

— А на какие деньги возьмем билет в поезд? — недоумевал я.

— Нужна десятка, — сказал Андрусон. — Идем к Свирскому. Он тоже самоучка, а зарабатывает прилично. К тому же — редактор в каком-то журнале.

— К Свирскому, — говорю, — так к Свирскому!

Туманным осенним вечером по опустелым переулкам добрались мы до квартиры писателя на Коломенской улице. Позвонили. Дверь открыла кухарка, удивленно нас осмотрела и провела молча в хозяйский кабинет, заставленный книжными шкафами и огром-

ным письменным столом. Пол был застлан бухарским ковром.

— Проходите, садитесь, — пригласил Свирский, коренастый упитанный человек с черными усиками и черной же густой шевелюрой. — Чем могу служить?

— Служить будем мы вам, — заговорил Андрусон, смущенно присаживаясь на краешек дивана. — А вы дайте нам, бездомным поэтам, десять рублей на билет... железнодорожный... до Ямбурга... Так сказать, авансом...

Свирский сразу же замахал руками, закрутил головой:

— Опять за стихи! Да я ж в стихах ничего не понимаю! И почему я должен вам давать деньги?

— Перед вами нищие поэты — вы понимаете?

Тут Свирский встал из-за стола, прошелся по ковру и сердито принялся отчитывать нас за безделье.

Андрусон слушал Свирского молча и сосредоточенно, точно подсудимый — обвинительную речь прокурора в суде.

Потом, тяжело вздохнув, Свирский вынул из ящика письменного стола три «синеньких».

— Последний раз, господа. Пишите, кровью сердца пишите, и вас будут уважать, и деньги у вас будут. Я сам хлебнул нищеты... самоучка, бывший одесский репортер. Трудом не пренебрегал, вот и выбрался в люди, стал писателем. Не дал умереть таланту, не потопил его в вине.

И Свирский запричитал:

— Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Герцен, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Островский, Фет были умом одаренные люди и к тому же таланты, бесстрашно пели во весь голос.

— И мы таланты!.. Никого не боимся!

— Верю. Но... вы читали у Плещеева:

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил,
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл?

Захватив пятнадцать рублей, мы удалились.

## 17. МОЗГ ГОРИТ...

На другой день, навестив с Андрусоном его брата и «заморив там червячка», вернулся я в Питер. Здесь в зимнюю стужу конца 1905 года повеяло весной. И я воспрянул духом.

Опять встретился в Народном доме, на Петербургской стороне, с озабоченным Туляком. Он и виду не подал, что между нами пробежала кошка. Узнав о моей бездомности, Туляк свез меня в трамвае в противоположную сторону Петербурга — за Нарвскую заставу и устроил «угловым жильцом» у одного рабочего, по «кукмиму» — фальшивому паспорту. И, прощаясь, сказал:

— Все же, дите ты неразумное... Ведь тогда, в адресном столе, я прощупывал тебя: каким ты стал, как на ногах держишься. А ты на дыбки, отвернулся...

Я с благодарностью и любовью посмотрел ему в глаза. Мы крепко пожали друг другу руки. Туляк ободряюще улыбнулся:

— Есть силушка, — многозначительно проговорил он. — Ну, устраивайся. Буду навещать.

И ушел.

Времена надвигались грозные.

Всемирной славой тогда пользовался Максим Горький. Книжки его (два томика) уже были переведены на все европейские и азиатские языки. Русская буржуазия очень усердно ухаживала за Горьким. Рассказывали: московский миллионер Савва Морозов, будто бы, познакомившись с Максимом Горьким, поцеловал его и сказал:

— Бери на революцию мои миллионы, Максимушка! .. Действуй!

В начале 1905 года царизм, потерпев поражение в войне с Японией, искал мира. Хотел войной задушить революцию, да просчитался, почуял на собственном горле петлю.

Социал-демократы большевики выступали с открытым забралом, как убежденные враги царизма и капитала. Они требовали восьмичасового рабочего дня, передачи земли крестьянам, свободы печати и слова...

Одиночки революционеры, не доросшие еще до понимания марксизма, самоотверженно метали бомбы в царских министров и сановников. Но большевики отрицали борьбу методами террора и говорили: надо призывать народ к восстанию, надо встретиться с врагом на баррикадах и его уничтожить.

Туляк, как и обещал, частенько заходил ко мне в «угол», просвещал меня, несмышленыша. От него я узнал, кто же такие большевики, а кто меньшевики, какие у тех и у других задачи и цели. Страстно, с большой любовью рассказывал Туляк о Ленине. Нередко до рассвета засиживались мы в беседах горячих, переворачивающих душу. Как-то раз Туляк принес листовку с запекшимися на ней каплями крови. Он вынул ее из кармана рабочего, убитого жандармами при их очередном налете на подпольную большевистскую квартиру, здесь, за Нарвской заставой. В этой листовке были напечатаны слова Ленина: «Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящих лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее...»

Я бережно, дрожащими руками разгладил листовку и несколько раз подряд прочитал ее от слова до слова. На вопрос Туляка, понял ли я теперь, что творится в бурном житейском море и к какому берегу должна причалить моя разбитая лодчонка, я ничего не ответил. Дрожь охватывала меня с головы до ног. Мозг горел. Тесно стало в моей каморке. Душа просилась на простор, сердце звало к какому-то большому, вдохновенному деянию. Да, я буду брать ту крепость, о которой говорит Ленин, буду брать штурмом, не жалея ни сил, ни крови, и не боюсь, как солдат, сложить голову на поле битвы.

Туляк был очень обрадован тем впечатлением, которое произвела на меня большевистская листовка.

— Хватит сидеть кротом, — сказал он при уходе. — Действуй, Тимон.

Впервые от Туляка я узнал, что вместе с Лениным борется против царизма и молодой Горький, печатает ядовитые обличительные статьи против царизма, против всего буржуазного строя.

Туляк сообщил мне домашний адрес Горького. Вскоре я отправился к нему на квартиру, на Знаменскую улицу. С парадного подъезда меня не пустили, приняли за нищего.

— Милостыни не подаем, — важно изрек открывший двери сторож, с пышной бородой и в потертом балахоне, обшитом поблекшей серебристой ленточкой.

Я тогда — с черного крыльца. На робкий мой звонок вышла кухарка, подозрительно осмотрела меня и, вытерев передником толстые, блестевшие от жира губы, спросила:

— Вам кого?

Я переступил порог.

— Горького... Максима.

— С этого ходу приема нету, — строго сказала кухарка.

Я решил все же не сдаваться.

— Алексей Максимыч! — крикнул я во всё горло.

— Да ты что разорался? — всполошилась кухарка. — Влез непрошенный да еще расходишься тут.

На шум выглянул Горький (судя по портрету). Я затрепетал. Алексей Максимович, продолжая с кем-то в комнате разговаривать (в руках у него были листы бумаги), мельком взглянул на меня и опять скрылся за стеклянной дверью.

— Вот он и Горький, видал? — кивнула кухарка, немного смягчив свой тон. — Он вашего брата, с пустым воображением, сразу, с первого взгляду познает.... Разная бесталань докучает...

«Что же делать? — размышлял я. — Занят, должно быть, иначе поинтересовался бы мною...» Потоптался, потоптался я, и, как ни хотелось мне увидеть Горького хотя бы на полчаса, как ни мечталось раскрыть перед ним всю душу, согреться под взглядом его ласковых, умных глаз, услышать его проникновенные слова (а именно таким я представлял себе в беседе врачевателя человеческих душ), пришлось на сей раз делать поворот от ворот. «Не во-время, — решил я. — Но не сегодня, так завтра увижу Горького, поведаю ему о своей жизни...»

...И узнает тогда Горький, что замордованному деревенскому пареньку-батраку, обойденному в детстве даже сельской школой, часто приходилось слышать слова «поэт», «писатель», но загадочными были тогда для него эти слова. Сетуя скорбно на свое невежество, он тайком, урывками, среди каторжного труда, порой под свирепую ругань и побои хозяина-кулака познавал первую грамоту, первую книжную премудрость по магазинным вывескам, по букварям, дешевым брошюркам и газетным листкам. Самым любимым чтением были для него изречения писателей и о писателях. И почему-то думалось пареньку: писателей «открывают» только после их смерти, вроде как попы открывают мощи. Ведь о том, что в дни пушкинского юбилея (сто лет со дня рождения поэта) жители псковских деревень ждали освящения «мощей Пушкина» в Святогорском монастыре, писалось даже в газетах! Во всяком случае паренек считал писателей пророками, властителями дум, а право на такой высокий титул дали им, думалось ему, вдохновенные мысли, почерпнутые из колодца жизни, выношенные в самоотверженном труде, в борьбе со злом, освещенные вечно горящими светильниками разума.

...Узнает Горький, что, стыдясь и переча своему дерзновению, принялся мальчишка-муравей слагать стихи-песни и «вынашивать мысли», таща́сь за плугом, чтобы тоже стать пророком, властителем дум. Но однажды, в майский полдень, когда особенно ярко сверкало солнце, звенело в синем небе птичье разноголосье и казался таким легким, чуть ли не воздушным путь поэта-песенника к человеческим сердцам, проведал мальчишка от одного из путников на большаке, что все писатели — самые обыкновенные люди, простые смертные, что путь многих из них крутой, ухабистый, а иногда и заросший терниями, и что не все книжки, что написаны, надо читать. Те, в которых сладкой патокой размалевана сытая барская жизнь, лучше и не брать в руки. А имеется в России, говорил прохожий, бедняцкий писатель-самоучка, из простых людей, бывший босяк, исходивший многие дороги и тропы российские, потаскавший на своем горбу тяжелую житейскую ношу, писа-

тель, который «без наук все науки прошел», — Максим Горький. Вот его сочинительства и должно постигать. Попали в руки пареньку от этого прохожего портрет самоучки-писателя, с длинными волосами, в простой рубахе-косоворотке, да книжка его в серой обложке, с рассказами. Паренек читал эту книжку по вечерам, при свете костра, подолгу смотрел на портрет писателя, и в отсветах пламени чудился он ему живым буревестником.

...Узнает также Горький, что однажды созрело в душе замордованного паренька решение вырваться из-под проклятого батрацкого ярма, пробраться в столицу и встретиться с ним, что после этого послал паренек свой очерк и первый стих в газету «Курская жизнь». Их напечатали. На седьмом небе был мальчонка. А потом расхрабрился, настрочил письмо в Питер, в Академию наук, ему, Максиму Горькому, и просил поддержки. Вместо ответа от Горького пришел ответ от Андрусона. Но ничего — тоже писатель. И добре ответил, подлил масла в огонь: скорее в Питер, к Горькому, скорее учиться!.. Но пути-дороги извилисты. И никак не удавалось пареньку попасть на заветную стезю. Наконец судьба-злодейка улыбнулась. Питер! Знаменская улица! Квартира Горького! И вот что получилось...

Тяжелой поступью двигался я по двору, но с твердым намерением завтра же разыскать Горького в одной из редакций. Наткнулся на дворника. Мужик краснолицый, в плечах широченный, глаза — пики.

— Ты что тут шатаешься? — наскочил он на меня. — А ну, кажи пачпорт.

— Да я... у... я... у Горького был, — стал заикаться я.

— Не ври, к Горькому сюды не ходят, по задворкам. Шукаешь, чего плохо лежит? Пачпорт! — Он решительно протянул свою ладонь-лопату.

Я взмолился не трогать меня, убеждал, что никакой я не вор, в доказательство достал из кармана листки со стихами. Эти листки сбавили пыл у ретивого дворника. Покосился он на меня:

— Писатель тож?

— Пробую.

— Хм... занятно... — Дворник возвратил мне листки. — Чижелый ваш труд... Ну, шагай за мной.

И повел меня в квартиру Горького прямым, законным путем — через парадную дверь, на удивление бородатого сторожа с серебристыми ленточками.

## 18. У ГОРЬКОГО

Когда я приблизился к полуоткрытым дверям кабинета Горького, оторопь сковала меня окончательно. Сердце словно остановилось. Вижу: в кабинете полным-полно людей, разговаривают несколько приглушенно, озабоченно. Вот почему, думаю, Горький не смог уделить мне внимание, выглянув в кухню.

Слышу голос Алексея Максимовича, отдельные его слова: «урок», «демонстрация», «царизм»...

Вот Горький замолкает, и сразу же гудят взволнованные гости. Я ближе подвигаюсь к дверной щели, даже заглядываю в нее. Горький стоит у окна, что выходит на Знаменскую улицу, и попрежнему держит в руках листы бумаги. Теперь я уже улавливаю смысл беседы. Гости — по обличию, видно, рабочие-делегаты — настаивают сейчас же ехать к министру внутренних дел с требованием, чтобы царь завтра принял в Зимнем дворце делегатов с петицией.

Что-то очень знакомый голос? Я решительнее просовываю нос в дверь, однако остаюсь незамеченным. Не верю глазам — Туляк! Нет сомнения, он возглавляет всю эту группу рабочих. В этом я убеждаюсь, когда вижу, как Туляк принимает из рук Алексея Максимовича бумаги и говорит:

— Спасибо вам за совет. Такую петицию царь не посмеет отвергнуть! Слушайте, товарищи...

Туляк проникновенно читает:

— «...Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук...»

Туляк умолкает. На несколько секунд в кабинете воцаряется тишина. Я прячусь за дверь.

Вертится ручка телефона. Горький называет номер. С кем-то беседует, просит приема для себя и рабочей

делегации. Должно быть, уламливает министерского чинушу. Небольшая пауза и — голос Горького:

— Что?! Почему?.. Так, так... Все ясно.

Телефонный отбой.

— Отказал... — зло бросает Горький.

Голос Туляка:

— Посмотрим, что этот министр запоет завтра, когда рабочие окружат Зимний дворец!

И снова — Горький:

— Иного ответа от этого сатрапа и ожидать нельзя было.

Кто-то предупреждающе замечает:

— Могут стрелять...

Шум голосов:

— Все равно пойдем!

— Завтра к дворцу, товарищи!

— Организованно, в колоннах!

— Посмотрим, кто кого...

— Спокойнее, товарищи! — Туляк останавливает разгоряченных делегатов. Он говорит, что в их план вносят некоторое разногласие старики рабочие, натасканные зубатовцами (агентами царской охранки) во главе с попом Гапоном. Старики намерены идти к Зимнему с иконами и хоругвями, крестным ходом.

— Может, это лучше, — одобряет кто-то. — По иконам не решатся стрелять.

Из передней гости-делегаты, одеваясь, уходят в возбужденном состоянии. Туляк даже не видит меня... Горький провожает их. Вот тут-то я его хорошенько разглядываю: сутул, высок, немного скуласт, широкоплеч, едва уловимая улыбка под короткими жесткими темнорыжими усами. Густые пряди темных волос, закрывая уши, падают почти до плеч. Подумалось почему-то: сила у него, как у библейского Самсона, — в волосах. Но от этой мысли я улыбнулся. Нет, не в волосах, а в большом, горячем сердце, в светлом уме, в его поэзии, подобной Эоловой арфе, в том внутреннем героизме, который не дает угаснуть в нем «искре божьей»...

Распрощавшись с посетителями, Горький направляется в кабинет и наталкивается на меня. Надо сказать, что страх, долго владевший мною, совершенно

пропал тотчас же, как я близко смог разглядеть Алексея Максимовича. Я стою, подняв голову, и широко открытыми глазами смотрю в глаза Горькому.

— А вы здесь зачем? — мягко спрашивает он. — Ко мне?

Странное дело: как только нужно было начать говорить с Алексеем Максимовичем, я сызнова немею. Хочу подавить в себе эту ненужную, глупую робость — и не могу.

— Я... из деревни... — бормочу невпопад. — Немного печатался. — Достаю рукопись. — Посмотрите, может, пригодится...

Горький мягко улыбается, отчего чуть шевелятся его темнорыжие усы, обнимает меня за плечи:

— Что ж тут, на ходу... Пройдемте в кабинет, молодой человек.

И вот я — в кабинете Горького! Сон это или явь? Сказка или быль?.. Сижу в мягком глубоком кресле, а чудится мне, что вовсе это и не кресло, а большое облако, на котором я плыву в какие-то неизведанные дали, залитые солнцем.

Прихожу в себя от вопроса Горького:

— Поэт из деревни?

— Нет, какой я поэт! Так, пробую...

— Стихи писать труднее, чем прозу. В стихах должна быть музыка, музыка!.. Как, скажем, «По небу полуночи» Лермонтова. Читали?

— Читал! — радуюсь я, что могу положительно ответить на этот вопрос.

— Вот видите: легко читается, а как трудно, ой, как трудно, чтобы было так легко!

Горький пристально смотрит на меня, словно изучает каждую складку на моем лице, каждое движение бровей, глаз моих.

— Трудно... — едва выговариваю я... — Да я... не могу, чтобы... не писать... само пишется как-то! — выпаливаю вдруг я.

Алексей Максимович гулко смеется, отбрасывает со лба нависшую прядь волос.

И я смеюсь. Почему — и сам не знаю. Просто, легко

стало на душе. От счастья, вероятно, смеюсь. И, расхрабрившись, говорю что на ум приходит:

— И очерк у меня есть... об аграрных беспорядках... Я сейчас на незаконном положении. Приютился у одного рабочего... Ваш адрес мне дал Туляк... Тычинский... Хотел бы учиться в какой-нибудь школе... на вечерних курсах, но нет возможности!

— А вы к кому еще обращались?

— Ни к кому. Кто со мною станет разговаривать?.. А надо жить!

Горький задумывается. Разглаживает ус.

— Да... жить надо, и хорошо надо жить, умно, с пользой. Расскажите коротко — кто вы?

— Как ждал я этого дня, Алексей Максимыч!.. Встречи с вами... Целые годы!..

И говорю, говорю, говорю... Изливаю душу. Короткая, страшная моя жизнь, а как долго рассказываю о ней. Горький не перебивает, слушает напряженно, выкуривает папиросу за папиросой.

Только заканчиваю свой рассказ, как в передней возникает какая-то возня, раздаются громкие голоса.

— Мне нужно ехать, дорогой Карпов, по неотложному делу, — говорит Горький, вставая из-за стола. — Наша беседа, будем считать, не окончена. Заходите ко мне на той неделе, не робейте, пожалуйста. Ознакомлюсь с тем, что вы написали, и тогда решим...

Горький не договаривает. Двери в кабинет распахиваются, и на пороге возникает маленькая фигурка с кривыми ногами, в рябом пальто и съехавшем на затылок котелке. Эту фигурку тащит назад знакомый мне сторож. А кривые ноги и цепкие, как крючки, руки упираются.

— Что такое? Что вам угодно? — хмурится Горький.

Мы выходим с ним в переднюю.

Фигурка сразу же атакует Горького:

— Вы — русский? Вы русскую душу можете понять?.. Или разбогатели?.. Вы — за миллионеров?.. Вы можете несколько минут уделить для беседы? Или не можете?..

Град вопросов. И последний:

— Сумеете разгадать: какой орел никогда не поднимется в небо? Или: у кого три головы и все пустые?..

Надев тем временем пальто и шляпу, Горький глухо, сердито басит:

— За ответами отправляйтесь в город Фивы к царю Эдипу, господин хороший! Проваливайте!

Фигурка пятится назад. Сторож помогает ей нырнуть за порог.

— Провокаторы, шпики... — цедит сквозь зубы Горький и дружески протягивает мне руку. — Жизнь — хорошая школа. И, разумеется, книга тоже... Не забывайте, захаживайте.

И уже за дверью, повернувшись, говорит:

— Жизнь, Карпов, не дар, а долг!

Я выхожу на улицу. Забыть его, Горького?.. Да разве можно! Разве можно забыть эти минуты, с глазу на глаз проведенные с ним? Забыть его слова, его улыбку, его дружескую руку? Я иду, вернее, лечу по тротуару с такой быстротой, будто за плечами у меня бьются два больших крыла. «Жизнь не дар, а долг... Не дар, а долг!» — звучит в ушах.

И еще — слышатся гневные слова Алексея Максимовича, обращенные к провокатору. Я не знал истории сфинкса с Эдипом. Гораздо позже прочитал о мифическом древнегреческом царе города Фив, ловко разгадавшем три загадки чудовища сфинкса, которых до Эдипа никто разгадать не мог. Но по горьковской злой насмешке догадался, что за сволочи вообще эти сфинксы!

Переулок за переулком, улица за улицей... Я шагаю, не чувствуя никакой усталости. Мне хочется громко читать стихи, петь. Мурлычу вполголоса:

Сяду я за стол
Да подумаю:
Как на свете жить
Одинокому?

И хохочу во все горло. Прохожие окидывают меня пугливым взглядом. Нет, черт побери, я знаю теперь, как надо жить на свете!

В тот же день я снова встречаюсь с Горьким, в Соляном городке, на вечере-митинге. Горький не выступает, но остается на митинге до самого конца. Востор-

женная толпа зрителей приветствует его бурными криками «ура», устраивает ему шумную овацию. Пытаюсь пробиться сквозь плотное человеческое кольцо, показаться на глаза Алексею Максимовичу, куда там! Он уходит.

Поздним вечером возвращаюсь я в свою конуру, безбоязненно предоставленную мне, по просьбе Туляка, питерским рабочим Иваном Еремеичем. Долго не могу уснуть. Образ Горького неотступно стоит перед моим взором... Поднимаюсь, зажигаю огарок свечи и записываю, как я уверен, с предельной точностью все, что услышал сегодня лично из уст Алексея Максимовича.

Завтра воскресенье, 9 января...

Я знаю теперь, как надо выполнять свой долг!

## 19. РАССТРЕЛЯННАЯ ВЕРА

В ту ночь туманно-студеный Петербург, с заснеженными, закованными в береговой гранит Невой, тремя Невками и Фонтанкой, затих в залитой ночными огнями сизой дымке. Но чуть забрезжило на востоке, огромный город — «наша краса и гордость», как любил говаривать мой каморкохозяин Иван Еремеич, — мгновенно пробудился и наполнился звоном колоколов.

Еремеич быстро оделся. Сунул в карман кусок хлеба, перекрестился трижды и взялся за дверную щеколду.

— Уже пора? — вскочил я.

— Ты — тоже?

— Конечно!

— Смотри, парень, не за пряниками идешь.

— Знаю, Еремеич. Долг зовет...

— Долг?.. Это ты, паренек, правду-матку отрезал.

Еремеич, в ожидании пока я натяну свои верхние брючонки и домотканный зипунный пиджак, присел у дверей на табуретку.

— Никогда такого не будет... — проговорил он.

— Чего «такого»? — не понял я.

— Никто нас, питерцев, не искоренит до скончания мира, — пояснил Еремеич. И добавил: — У народа шея

толста. Не так-то легко петлю на ней затянуть. Это тебе не один, не два человека, а народ!

...Мы выходим на улицу. Она сплошь запружена народом. В заводской церкви поп Гапон служит молебен. А здесь, в толпе, только и слышится:

— Не будет царь стрелять...

— А что ему — крови жалко нашей?

— Ежели зачнет пулять — как аукнется, так и откликнется...

— Учредительное собрание должон созвать!

— Слышали, в Баку рабочие победили?

— Погоди, они повсюду верх возьмут!

— Царь поможет... Разве он не знает...

— На царя надейся, а сам не плошай!

Говор, выкрики, смешки...

Выходит народ из церкви. Колышутся в воздухе хоругви. Сверкают на руках иконы, укрытые расшитыми полотенцами.

Толпа устремляется к Зимнему дворцу. Хор поет: «Спаси, господи, люди твоя...» Трезвонят в колокола. Мы с Еремеичем вливаемся в общие ряды. Еремеич толкает меня в бок:

— Глянь-ка: фараоны тоже подпевают. Ну и дела!..

И поясняет мне, что полицейские и жандармы, видя, что уговоры и предупреждения «не идти к Зимнему» на рабочих не действуют, норовят все грозное движение масс превратить в патриотическую манифестацию, потому, дескать, и двигаются вслед за хором. «Патриоты», черт их возьми!

По пути из всех церквей выносят кресты и золоченые полотнища на длинных древках с изображением святых, хором поют духовные стихиры. Высоко поднимаются над идущими — то здесь, то там — портреты царя.

Я нащупываю в кармане какую-то бумажку. Вынимаю. Да ведь это листовка, что принес Туляк! Он оставил ее у меня. Понимаю тебя, Туляк!.. Ты нарочно забыл листовку. Ты знал, что она не оставит в покое мое сердце. Ты угадал... Вот и сейчас она горит огнем в моих руках, освещает мне дорогу, по которой я иду вм-

полнять свой долг. Спасибо, Туляк. Спасибо, друг, учитель.

— Прочти! — даю листовку Еремеичу.

— Что за бумажка?

— Кровью писанная...

Еремеич берет ее в руки, вытаскивает очки, напяливает их на свой нос-лепешку.

— На ходу... не могу. А отставать нельзя. Ты потихонечку читай.

— Я наизусть ее знаю, Еремеич.

Шагая в ногу со старым питерским пролетарием, я как стихи читаю большевистскую листовку со словами Ленина:

— «Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее!» — произношу я взволнованно.

Загораются глаза у Еремеича. Высоко закидывает он голову.

Я продолжаю:

— «...Исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева: «подымается мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

— По великой дороге идем с тобой, паренек! — в волнении говорит Еремеич.

Смотрю: марширует он как молодой, а ему уже далеко за шестьдесят перевалило. И у меня легкость необыкновенная в ногах. Во всем теле ощущаю невиданную доселе силу. Полураздетый, голодный, а кажется, что владею в эти минуты всеми сокровищами мира — так радостно на душе, такая вера в завтрашний день!

Низко нависает серое небо. Но знаю я, что за этой мутной пеленою таится солнце. И никто — ни бог и ни царь — не смогут потушить его, никто не в силах задержать день, идущий на смену ночи.

Опускаю листовку в карман. Сжимаю ее. Это — в моей руке — мое оружие.

Вот уже и Вознесенский проспект... Сенная... Мариинская площадь... Морская улица...

— Царь выйдет, — убежденно произносит Ере-

меич. — Уважит народ. Ишь, сколько людей... женщины... даже детишки увязались.

«Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое...» — поют сотни голосов. Качаются хоругви. Плывут портреты царя. Все ниже и ниже нависает серое небо...

Гороховая... Проезд Александровского сада...

— На своем веку во многих городах побывал я, но нигде не видывал таких красивых девушек и женщин, как у нас в Питере! — вдруг говорит Еремеич. — Погляди! — толкает он меня в бок. — Видишь ту — в шапочке меховой и с муфточкой?

Встрепенулся я — уж не светлоглазка ли?..

Еремеич продолжает:

— Смелая, видать. Эта за тобою хоть в огонь, хоть в воду пойдет... Слыхал я давеча, как одной институтской барышне еще при царе Александре подвезло словно в сказке. У нее, значит, брата родного на турецкой войне убили. «Жалко брата-то?» — спросили у барышни. А она: «Нет, не жалко. Он умер за царя и отечество!» Так прямо, значит, и ответила. Ну, дошли ее слова до самого царя. Царь и возрадовался. «За такую ее сознательность, — говорит он, — выдать ей тыщу рублей до скончания института, потом — еще тыщу, а как замуж соберется — доложить мне, приданое справлю».

Еремеич поднимает куцый воротник у своей длиннополой тужурки. Резко подул ветер — леденящий, колючий.

Спрашиваю я:

— Барышня-то небось знатного рода была?

— Известное дело — дворянка.

— Так бы и говорил, — ухмыляюсь я.

— Да я к чему? — ершится Еремеич. — А к тому, что царь такую милость одному человеку оказал, а нас нонче великие тыщи к царю идут, с открытым сердцем идут! Неужели не облагодетельствует, не облегчит страданья народу?

Вступаем на Дворцовую площадь с Александрийским столпом посредине. Глядим: Зимний дворец оцеплен солдатами гвардейского Семеновского полка. Из

общего воинского строя вышли офицеры, подают знак: не приближаться ко дворцу, повертывать обратно.

— Шествие запрещено! — кричат они.

«Шествие запрещено! Шествие запрещено!» — разносится по всей площади.

А народ продолжает двигаться. Да все быстрее и быстрее. И мы с Еремеичем шагу прибавляем.

— Это они для острастки стоят, — успокаивает Еремеич.

Офицеры обнажают шашки, командуют солдатам:

— На изгото-о-ов...

Солдаты берут винтовки наперевес, звякают затворами и замирают в напряженной позе.

Рокочущими людскими волнами дышит Дворцовая площадь. Человеческое море! Как в час штормового прибоя, гонит оно вперед вал за валом, к берегу — к царскому дворцу. И мы с Еремеичем, как два камешка в бурном потоке, несемся, подхваченные живым, непреодолимым течением.

Командир батальона верхом на лошади подъезжает к рабочей колонне, кричит резко-пронзительно:

— Назад!.. Стрелять будем!

А море бурлит. Волны все катятся и катятся...

— Останови-и-ись! — вопит офицер.

Глупец!.. Разве можно остановить жизнь? «Жизнь, Карпов, не дар, а долг», — как бы слышу слова Горького.

И вдруг над самым ухом:

— Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее!

Это Еремеич бормочет и что есть силы впивается своими пальцами в мою руку.

— Останови-и-ись! — истошно орет офицер.

Вместо остановки толпа движется на солдат. И мы — тоже.

Раздается грозный боевой сигнал: скрежещущий звук рожка, означающий огонь. Командир взмахивает белым платком. Секунда — и залп!

— Стреляют! — сам не свой вскрикивает Еремеич. — Будьте вы прокляты!

И бросается вперед. Я — за ним.

Еще залп.

Хоругви, вздрогнув, падают на снег. Падает расстрелянная вера в царя. Валятся раненые, роняют иконы. Бог растоптан...

Снова залп.

Взмахивает руками Еремеич и, как скошенный молнией дуб, валится плашмя на снег. Я задерживаюсь на месте, не верю случившемуся. Переворачиваю старика на спину. Застывшая в уголках губ улыбка. Алая струйка крови сочится из виска.

Ползут люди в разные стороны, ползут молчаливо, с безумными глазами, в крови, в гневе.

Оглядываюсь в беспамятстве. Около меня сидит на снегу женщина и хохочет. Сошла с ума! На руках у нее трупик ребенка.

Я кричу:

— Гады! .. В царя стреляйте! ..

Опять залп.

Свинцовая пчела впивается мне в плечо. Я падаю. Чьи-то ноги наступают мне на спину. Чей-то носок сапога ударяет меня в щеку. Я ползу, однако силы быстро оставляют меня.

И я лежу на мостовой. Горит голова, горит все тело... Звон в ушах... Ни стонов, ни криков, которые, вероятно, окружают меня, не слышу. Кровь во рту от удара сапогом... Кровь в рукаве от царской пули... Безудержно глотаю запекшимися губами снег. Почему он такой рыхлый, теплый?

Туман заволакивает сознание. Нет, я не сдамся! Пытаюсь приподняться и на карачках проползаю шага два, не больше, царапаю пальцами камни под снегом... Опрокидываюсь в изнеможении на спину. Серое небо... Ветер... Рваные облака надо мною...

«Неужели конец, — не тухнет мысль, — и неужели это — выполненный долг? .. Нет, так умереть — умереть должником...»

Стараюсь разогнать туман. «Я не умер, нет, не умер. Я ранен... Это — Дворцовая площадь... Расстрелянные люди... Убит Еремеич... Я все помню... все! .. Вчера был у Горького... А листовка? .. Вот, вот она... — Тяжелой рукой дотрагиваюсь до кармана. —

Цела... Теперь на ней и моя кровь... Что это? Копыто?! А-а, это офицерская лошадь перескочила. Не убьете... не убьете меня... Туман... Какой страшный туман!..»

И в этом тумане, который, чувствую, пронизывает меня насквозь, я вижу... явственно вижу...

Дядька Андрей — «Никола-Верижник» — льет на меня холодную воду... «Для освежения мозгов», — бубнит он... А в небе — червленые березы, дубы, ясени и клены, каштаны и липы, подернутые прозрачной ладанной дымкой... Чемесов сует мне в рот конфету. «Вставай! — кричит. — Пляши!..» Не Чемесов это, а Туляк шепчет на ухо: «Хватит сидеть кротом... Действуй, Тимон...»

Кто это надо мной?.. Девушка в меховой шапочке! На эту девушку Еремеич указывал... та, что в огонь и в воду... Что она делает? Бросает в снег муфточку, рвет свой белый платок... стягивает с меня пиджак... перевязывает мне плечо...

— Спа-си-бо... — шепчу ей. — Я буду жить, я выполню свой долг...

Приподнимаюсь.

Девушка поддерживает меня, обнимает за плечи, смотрит мне в лицо добрыми, живыми глазами.

Встаю.

Серое небо... Ветер... Рваные облака... Кровь на снегу...

— Тяжко... очень тяжко мне, девушка!

Опираюсь на ее руку. Иду, иду...

Я вижу свою дорогу — трудную, каменистую. В крутую гору ведет она, но ведет к свету, к счастью, и я не сверну с нее. Нет, не сверну!

## ОГЛАВЛЕНИЕ



*Карпов Пимен Иванович*

ИЗ ГЛУБИНЫ

Редактор *Б. А. Дьяков*

Художник *В. Я. Коновалов*. Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *В. Г. Комм*. Корректор *Ф. Л. Эльштейн*.

Сдано в набор 21/VI 1956 г. Подписано к печати 29/IX 1956 г. А 10095.
Бумага 84×108 1/32 Печ. л. 14 3/4 (12,10). Уч.-изд. л. 10,91 Тираж 15 000.
Зак. № 552. Цена 4 р. 30 к.

Издательство «Советский писатель»
Москва, К-104, Б. Гнездниковский пер., д. 10

Типография № 3 Управления культуры Ленгорисполкома
Ленинград, Красная ул., д. 1/3.